



"По всем по трём..."

Об истоках поэтического образа тройки

В. А. КОШЕЛЕВ,

доктор филологических наук

"Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать вёрсты, пока не зарябит тебе в очи" (Н.В. Гоголь. Мёртвые души).

В этом хрестоматийном восклицании современный читатель уже не улавливает иронического оттенка. *Тройка* – три лошади, запряжённые рядом в один экипаж, – была действительно русским изобретением, русским приспособлением к дальним расстояниям и тряским дорогам.

Тройка вошла в широкое бытование лишь в начале XIX века. "В Екатерининское время... – свидетельствует М.И. Пыляев, – сани были двухместные, с дышлами, запрягались парюю, четвернёю или шестернёю в цуг..." (Пыляев М.И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 1889. С. 195). Эта лошадиная "пара", между прочим, тоже стала предметом поэзии и даже сыграла свою роль в полемике "шишковистов" и "карамзинистов". В 1810 году один из лидеров "архаистов", С.А. Ширинский-Шихматов, в стихотворении "Возвращение в отечество любезного моего брата..." обозвал упряжь "высоким слогом":

Но кто там мчится в колеснице
На резвой *двоице* коней,
И вся их мощь в его деснице?..

На это московский профессор М.Т. Каченовский в язвительной рецензии насмешливо заметил: "Хорошо, что приезжий гость скакал не на *тройке*" (Вестник Европы. 1810. № 19. С. 222). А сторонник "карамзинистов" В.Л. Пушкин в поэме "Опасный сосед" (1811) резво обыграл эту самую "двоицу":

Позволь, Варяго-Росс, угрюмый наш певец,
Славянофилов кум, взять слово в образец.
Досель, в невежестве коснея, утопая,
Мы, *парой* двоицу по-русски называя,
Писали для того, чтоб понимали нас.
Но, к чёрту ум и вкус! пишите в добрый час!..

Как видим, к этому времени тройка уже существовала. Впервые в поэтическом тексте её употребил, кажется, К.Н. Батюшков: "На тройке в Питер улечу" (стихотворение "Отъезд", 1809). Да и сам В.Л. Пушкин, скорее всего, предпочитал тройку, именно на тройке отвозил он в 1811 году племянника в Лицей, о чём тот поведал в стихотворении "Городок" (1815):

На *тройке* пренесённый
Из родины смиренной
В великой град Петра...

В ранних стихах Пушкина "тройка" ещё не несла никакой особенной поэтической нагрузки, кроме обозначения простого средства передвижения. "Садись на *тройку злых коней*..." – обращается поэт в послании "К Галичу" (1815). Смысловая нагрузка здесь переносится на "злых коней", а "тройка" становится простым указанием на количество, как в эпиграмме того же времени "Угрюмых тройка есть певцов..." Такое употребление сохраняется и позднее (ср. в "Евгении Онегине": "Евгений ждёт: вот едет Ленский / На *тройке чалых лошадей*..."). Даже эли-

тет к слову *тройка* ничего принципиально не менял. Ср. в "Братьях-разбойниках" (1822): "Заложим *тройку* удалую..." Или в балладе "Женях" (1825): "*Лихая тройка* с молодцом". "Тройка" становилась самоценным образом лишь тогда, когда включалась в стихотворную ситуацию *дороги, пути*, которая в поэзии неизбежно получала оттенок символического значения.

Подобную ситуацию *пути* Пушкин попробовал воссоздать в стихотворении "Телега жизни" (1823). Несложное внешне аллегорическое представление человеческой жизни как движения в телеге по тряской дороге, движения, меняющего свой характер вместе с переходом человека из одного возраста в другой, – оказывалось очень многозначным. Жизненная "дорога" воспринималась как символ духовного преобразования человека, определяющего особенные сложности пути к совершенству.

Это пушкинское стихотворение не предназначалось для печати: в конце второй его строфы присутствовало нецензурное выражение, блестяще характеризовавшее возраст человеческой молодости:

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая страх и негу,
Кричим: валяй,!

(Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.-Л., 1937. Т. XIII. С. 126; далее – только том и стр.).

Осенью 1824 года П.А. Вяземский принял деятельное участие в организации нового журнала "Московский Телеграф" – и у Пушкина, находившегося в михайловской ссылке, стал настойчиво просить "что-нибудь на зубок" (XIII, 118). Пушкин не горел желанием участвовать в этом предприятии, но и не считая возможным отказывать Вяземскому (только что выступившему издателем "Бахчисарайского фонтана"), послал ему именно это, ни в коем случае не предназначенное для цензуры, стихотворение... И приписал не без тайной усмешки: "Можно напечатать, пропустив русской титул..." (XIII, 126). Пушкин, естественно, не предполагал, что "Телега жизни" будет опубликована – и в письме от 19 февраля 1825 года удивился: "Ты в самом деле напечатал *Телегу*, проказник?" (XIII, 144).

"Телега жизни" появилась в первом номере "Московского Телеграфа" за 1825 год на стр. 49 (вслед за стихотворением самого Вяземского "К приятелю"), а "русской титул" во второй строфе был очень удачно заменён:

С утра садимся мы в телегу,
Мы погоняем с ямщиком
И, презирая лень и негу,
Кричим: "*валяй по всем по трём!*"

Тройка прижилась в России как оптимальная упряжь для дальних путешествий по плохим дорогам. Во-первых, при этом способе запряжки лошади занимали пространство шире, чем повозка (сани, карета, коляска, бричка, дрожки и т.д.). В результате значительно уменьшалась опасность её падения, хотя, конечно, полностью такая возможность не исключалась даже на больших почтовых трактах. Вспомним Чацкого в комедии А.С. Грибоедова, который, путешествуя из Петербурга до Москвы, "и растерялся весь, и падал сколько раз". Во-вторых, нагрузка в пути распределялась "по всем по трём", и оттого лошади меньше уставали. Такой способ запряжки – что замечательно – позволял регулировать нагрузку, приходившуюся на каждую лошадь. Жёстко закреплялась только средняя лошадь (коренник), которой помогали две пристяжные. В нужный момент ямщик кнутом или вожжами подхлестывал одну из пристяжных; та начинала бежать быстрее и тянуть сильнее – и давала возможность передохнуть соседней лошади.

Так родился фразеологизм "по всем по трём", возникший из "ямщицкой" поговорки "По всем по трём, коренной не тронь, – а кроме коренной нет ни одной" (Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Своё и чужое. Опыт русской фразеологии. М., 1994. Т. 2. С. 49). Хлестнуть "по всем по трём" означало ударить кнутом по всем лошадям сразу для резкого убыстрения бега. Ямщики, естественно, пользовались этим ударом крайне редко – в некие особые минуты, когда "душа" была расположена к увеличению скорости ("И какой же русский не любит быстрой езды?").

Подслушавший это ямщицкое присловье, Вяземский и употребил его вместо "русского титула". Особая образность этого фразеологизма создавала неожиданный эффект – и Пушкин принял его: в издание стихотворений 1826 года он поместил "Телегу жизни" в редакции Вяземского. Но уже в 1829 году предпочёл частично вернуться к прежней редакции, представив вместо обценного выражения показательную фигуру умолчания ("Кричим: пошел!....." – III, 306), ещё более усиливавшую смысл высказывания.

Между тем, с лёгкой руки Вяземского, выражение "по всем по трём" вошло в русскую поэзию – и неожиданным образом *русская тройка* стала чуть ли не национальным символом.

В том же 1825 году, вслед за публикацией в "Московском Телеграфе", им воспользовался Ф.Н. Глинка в стихотворении "Сон русского на чужбине". Содержание этого большого стихотворения – ряд меняющихся эпизодов и образов "заветной *русской* стороны", которые предстают во сне русскому человеку, находящемуся вдали от родины. Один из эпизодов прямо связан с тройкой:

И мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой.
И колокольчик – дар Валдая –
Гудит, качаясь, под гудой...

Далее появлялся образ "младого ямщика", поющего грустную песню "про очи девицы-души", и всё заключалось любящимся Глинке фразеологизмом:

"...Теперь я горький сиротина!"
И вдруг махнул по всем по трём...
Но я расстался с милым сном,
И чужеземная картина
Сияла пышно предо мной... и т.д.

Для много писавшего Фёдора Глинки "Сон русского на чужбине" был "проходной" вещью: гораздо большее значение он в то время придавал поэтическим аллегориям или переложениям псалмов. Он напечатал своё стихотворение в популярной петербургской "Северной пчеле" (1825. № 74. 20 июня), но его скромная публикация невесть каким образом была замечена, а фрагмент о тройке (хотя и не имевший сюжетной законченности) превратился в народную песню: через несколько лет он попал в популярные песенники и даже в лубок (см., например: Песни русских поэтов. Л., 1988. Т. 1. С. 610). В 1832 году Глинке пришлось даже написать авторскую редакцию этой песни: она была помещена в "Русском альманахе на 1832–1833 год" (СПб., 1832) на стр. 370 со следующим примечанием: «Сия песня, сделавшаяся народной, в первоначальном своём виде составляла часть стихотворения Ф.Н. Глинки "Сон русского на чужбине". Она не была напечатана особо, и оттого её пели с разными изменениями. Здесь помещается она по желанию самого сочинителя *так точно*, как вышла из-под изящного пера его». Эта авторская редакция имела некоторые отличия от текста раннего стихотворения, а, главное, отрывок был "закольцован" показательным финалом:

"... Теперь я горький сиротина".
И вдруг махнул по всем по трём,
И *тройкой* тешился детина
И заливался соловьем.

Слово *тройка*, как мы видим, было выделено курсивом, – в манере Фёдора Глинки, любившего подчёркивать опорные слова. При этом поэтический облик тройки существенно расширялся: экипаж становился едва ли не живым, мыслящим, "заменившим" собою едущих в нём седюков; тройкой можно тешиться и т.д. Тройка обростала характерными, сопровождающими её реалиями: столбовая дорога, унылый и однообразно звучащий колокольчик, поющий ямщик...

С этими неперменными атрибутами тройка была представлена и прозаически. И.И. Лажечников в романе "Последний Новик" (1831), действие которого происходит в Петровскую эпоху, дал подробное описание "красивой колымаги, запряжённой в русскую упряжь тремя бойкими лошадьми"; рядом оказался "статный" молодой ямщик в "поярковой шляпе" и "кумачной рубашке", который, как водится, "залился унылою песнею" в то время, как "колокольчик, дар Валдая, бил меру заунывным звоном" (Лажечников И.И. Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 413). Автора не смутило, что в 1703 году в "поезде знатного боярина" не могло быть ни троек, ни тем более колокольчиков (появившихся столетие спустя) – ему нужно было ввести символ "русскости", и он не мог устоять перед обаянием поэтической находки Фёдора Глинки.

В 1840 году Н. Радостин (Анордист) в издаваемом им Альманахе поместил большую пиесу (почти поэму!) под названием "Тройки, переделанные, четыре", в которой довольно наивно и неловко представил расширенную – сюжетную – вариацию стихотворения Глинки. И что важно: первая из этих "четырёх троек" стала, в свою очередь, известной народной песней – "Гремит звонок, и тройка мчится..." (см.: Песни русских поэтов. Т. 1. С. 534–536).

«"Троек" в русской поэзии можно насчитать около сотни...» – констатировал И.Н. Розанов (Песни русских поэтов. XVIII – первая половина XIX века. Л., 1936. С. 575). Но все они – прямые наследницы "глинковской" "Тройки": их поэтическая ситуация развивается на фоне тех же атрибутов: "Тройка борзая бежит"; "Колокольчик однозвучный"; "долгие песни ямщика"; "вёрсты полосаты" (А.С. Пушкин. "Зимняя дорога", 1826); "Светит месяц, тройка мчится / По дороге столбовой", "Сладки мне родные звуки / Звонкой песни удалой" (А.С. Пушкин. "В поле чистом серебрится...", 1833); "Колокольчик однозвучный, / Крик протяжный ямщика..." (П.А. Вяземский. "Дорожная дума", 1830); "Там колокольчик где-то бряк..." (П.А. Вяземский. "Зимние карикатуры", 1828) и т.д.

Образ тройки существенно определил и поэтику пушкинских "Бесов" (1830). В одном из начальных вариантов значилось: "Тройка едет в тёмном поле / Колокольчик дин-дин-дин..." (III, 832). Потом "тройку" заменил "путник" ("Путник едет в чистом поле" – Там же); затем – лирическое "мы" ("Едем, едем в чистом поле" – III, 834) и, наконец, лирическое "я": "Еду, еду в чистом поле..." (III, 236). Сама возможность, подобной цепочки "замен" демонстрирует специфическое восприятие "исходного" образа не только как живого существа (ср. один из вариантов: "Тройка стала и хранит..." – III, 836), но и как существа, связанного с идеальными основами именно *человеческого* "я". В окончательной редакции "Бесов" тройка отсутствует, но сохранены все

её поэтические атрибуты: колокольчик, ямщик, кони, которым "тяжело", дороги, которые "занесло" и т.д. Показательно, что Вяземский собственную вариацию на тему пушкинских "Бесов" назвал "Ещё тройка".

Для русской поэзии пушкинского времени был вообще свойственен момент некоторого "коллективизма", выражавшегося в неожиданном "совпадении" в обращениях к похожим темам и проблемам. Поэтические "тройки", явившиеся как отклик на находку Ф. Глинки (оттолкнувшегося, в свою очередь, от выражения "но всем трём" в тексте Пушкина-Вяземского), становились у тех же Пушкина и Вяземского близки и по хронологии, и по лирическому содержанию, и даже по стилю ("Колокольчик *однозвучный*" у Пушкина и Вяземского). В 1825–1826 годах, когда Вяземский работал над неосуществлённой поэмой "Путешествие" (из которой опубликовал отрывки "Коляска" и "Станция"), Пушкин разрабатывал те же мотивы в "Зимней дороге", "Графе Нулине" и т.п. Одновременно создавались сходные по тематике и поэтике "Бесы" Пушкина и "Зимние карикатуры" Вяземского...

"Бесы" были опубликованы в альманахе "Северные цветы на 1832 год". В конце 1833 года Вяземский передал для альманаха "Новоселье" стихотворение "Ещё тройка" ("Тройка мчится, тройка скачет..."), которое было напечатано в следующем, 1834 году.

Оно тоже попало в песенники, но в дальнейшем "песенном" бытовании претерпело значительные изменения. В исходном же поэтическом замысле это был своего рода манифест, очень своеобразно осмыслявший тематику всех предшествующих "Троек" (отсюда – наречие "ещё" в заглавии). Стих (четырёхстопный хорей с перекрёстной рифмовкой) повторял стих "Бесов" и "Зимней дороги", а основные "троечные" атрибуты усложнялись и представляли в неожиданном обличье. Звон колокольчика, например, удастаивался подробного описания ("Колокольчик звонко плачет / И хохочет, и визжит") и развёрнутых ассоциаций:

Словно леший ведьме вторит
И аukaется с ней,
Иль русалка тараторит
В роще звчных камышей.

Если в "Бесах" колокольчик (то "дин-дин-дин", то "вдруг" умолкавший) организовывал лирическое движение, то здесь сами "бесы" (леший, ведьма, русалка) уже некое следствие "плача" и "хохота" колокольчика. А сам этот нехитрый инструмент предстаёт как "поэтическая весть" и "русской степи", и "русской думы"...

Луна в пушкинских "Бесах" присутствует "невидимкою" – здесь она

выступает и видимым, и активным "действителем":

Прянул месяц из-за тучи,
Обогнул своё кольцо
И посыпал блеск зыбучий
Прямо путнику в лицо.

Следующая за тем серия риторических вопросов ("Кто сей путник? И отколе, / И далёк ли путь ему?") выводит некоего "седока", "путника", из-за нужд которого, собственно, и "скачет" всё это поэтическое сооружение. Но именно "путник" здесь куда менее важен, менее значим и менее интересен, чем собственно "тройка", "кони", "колокольчик", "дорога", "ямщик" и другие атрибуты поэтического "путешествия". Поэтому, например, мы не обращаем внимания на то, что гоголевская "птица-тройка", становящаяся символом России, везёт Чичикова. Сам субъект путешествия, мчащийся мимо, оказывается принципиальным "незнакомцем", моментальным видением русской жизни ("проезжий корнет" в "Тройке" Н.А. Некрасова). Дела и думы его ничтожны в сравнении с самим феноменом "русского" движения и русской жизни, мимо которой он почему-то пронесется:

Как узнать? уж он далёко!
Месяц в облако нырнул,
И в пустой дали глубоко
Колокольчик уж заснул...

Новгород



О значении фамилии "Ферфичкин"
В "Записках из подполья"
Ф.М. Достоевского

О.Г. ДИЛАКТОРСКАЯ,
кандидат филологических наук

Нет необходимости говорить о мастерском умении Ф.М. Достоевского сочинять фамилии для своих персонажей: это составляет одну из особенностей его поэтики. Легко вспоминаются и *Девушкин*, и *Прохарчин*, и *Незванова*, и *Раскольников*, и *Разумихин*: в каждой заключена сердцевина смысла всего образа. В одном фамилия подчёркивает беззащитность и нежность, в другом – грубую прямолинейную зависимость от самых низких инстинктов, в третьем выявляет отверженность, в четвертом – историческую идею социального и религиозного раскола, в пятом – рассудочность и ограниченность положительного персонажа.

В "Записках из подполья" фамилия *Ферфичкин* выбивается из ряда других: *Зверков*, *Трудолюбов*, *Симонов*. В ней ощущается некий скрытый этимологический смысл в сравнении с указанными фамилиями: *Трудолюбов* (от *любящего труд*, достигающего успехов не умом, а трудом – в последнем значении явен намёк на ограниченность героя, что подтверждается текстом), *Симонов* (от именного: *Симон*), *Зверков* (от уменьшительного *зверёк*).

Что же означает фамилия *Ферфичкин*? Бросается в глаза её искусственность, "умышленность". Достоевский подсказывает: *Ферфичкин* – "из русских немцев" (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 137; далее – только том и стр.; курсив наш. – О.Д.).

Немцы в России, в том числе и обрусевшие, носили собственные, неизменённые фамилии: *Остерман*, *Бенкендорф*, *Кюхельбекер*, *Сухозанет* и т.д. В литературе: *Германн* ("Пиковая дама"), *Рутеншиц* ("Двойник"), *Штольц* ("Обломов"), *Герценштубе* ("Братья Карамазовы") и т.д. Однако всякое правило имеет исключения. В России немецкие фамилии нередко переделывались по нормам образования русских: *Фонвизин*,

Эверлаков, Сиверсов, Брюллов (см.: Унбегаун Б.О. Русские фамилии. М., 1982. С. 269; далее – только стр.). Фамилия Ферфичкин тоже создана по способу образования фамилий в русском языке, оканчивающихся на "ин".

Чаще всего русские фамилии на "ин" восходят к географическим названиям (Москвитин), к обозначениям этнического происхождения (Литвин, Немчин), к названиям рек (Волгин – 114). Кроме того, есть патронимические (Мамин – 18), фамилии, образованные от уменьшительных (Якушкин) и сомнительно уменьшительных форм (Федичкин – 80), а также произведённые от прозвищ (Сироткин – 147). Наконец, нередки фамилии на "ин", связанные с профессией литературных персонажей (Кутейкин, Цыфиркин – 191).

Достоевский был мастером сочинять фамилии с "говорящим" смыслом, подчёркивающим профессиональное занятие её носителя. Однако придуманные писателем, они не столь прямолинейны по значению, как фамилии в текстах XVIII века. Их приводит Б.О. Унбегаун: *Зерициков* (тот, кто ведёт игру на рулетке); *Острожский* (начальник острога); *Костоправов* (врач); *Шаблыкн* (шаблыка; укр. диалектное – гусар) (191). Несомненно, фамилия *Ферфичкин* – из этой же "серии". Образцом может служить последний пример, когда фамилия возникает на границе двух языков. В случае с фамилией *Шаблыкн* – украинского и русского, а в случае с фамилией *Ферфичкин* – немецкого и русского.

Направление поисков подсказывает сам писатель: Ферфичкин – одноклассник двух военных, с которыми он дружен. Это поручик Зверков и Трудолюбов ("военный парень, высокого роста с холодною физиономией (...) способный рассуждать только об одном производстве" – 5, 137; курсив наш. – О.Д.).

Из контекста повести понятно, что их школа – с п е ц и а л ь н а я, готовящая к военной службе (5, 140). А вот к какой именно, и проясняет, на наш взгляд, фамилия *Ферфичкин*.

Странность этой фамилии заключается прежде всего в том, что она начинается с буквы "ф": это малохарактерно для начального варианта русских фамилий. В творчестве Достоевского их наберётся немного: Федяев, Филимонов, Филиппов, Филисова, Фокин, Флибустьеров (см.: Бем А.Л. Словарь личных имён у Достоевского // О Достоевском. Сб. ст. Прага, 1933. Т. 2. С. 73–74). На этом фоне легко увидеть вариант нерусского происхождения фамилии *Ферфичкин*. Безусловно, ощущается "составленность" последней, её комический, игровой эффект. Вспоминается, например, герой "Униженных и оскорблённых" с игровой фамилией *Феферкухен* (Pfefferkuchen – пряник), его же ещё называют *Фрауенмилх* (Frauenmilch – женское молоко), *Фейербах* (Feuerbach – огненный ручей), *Брудершафт* (Brüderschaft – братство), что подчёрки-

ваает мечтательный, сентиментальный характер героя, "брatца Шиллера" (3, 336), и одновременно обыгрывается комическое, нелепое в нём. Этот же характерологический принцип подбора фамилии просматривается и в слове *Ферфичкин*: *verfitzen* (разг.) – приводить в беспорядок; *verfilzen* – всклокочивать, спутывать, взъерошивать; *verwickeln* – спутывать, мешаться (вариант с предлогами – впутывать кого-либо, вмешивать, вмешиваться); *verwirren* – сбивать с толку, вводить в замешательство. Все эти значения отзываются в поведении героя, некстати вмешивающегося в разговор, человека "взъерошенного", склочного, сршистого, других вводящего в замешательство. Можно увидеть ещё один путь "перевода" фамилии *Ферфичкин*. С учётом авторских указаний на специфику военной профессии героя в созвучиях его фамилии можно услышать: *feuerwerken* – заниматься пиротехникой; *Feuerwirkung* – огневое воздействие, эффект стрельбы; *feuernzwischen* – стрелять между и т.д. Если транслитерировать по-русски: фейерверкен; фейервиркунг; фейерн цвишен (здесь *цв* могут дать *ф, ш – ч*). В грубом, "обрусевшем" варианте все эти созвучия могли перейти в: Ферфич-к-ин. Парадоксалист вызывает с т р е л я т ь с я именно *Ферфичкина*, а не кого-то другого. Ещё одно: *Feuer* (огонь, пламя) в форме прилагательного даёт значение – красный, огненный, пылкий, что тоже находит отклик в облике носителя этой фамилии.

Самой фамилией Достоевский подчёркивает, что характер *Ферфичкина* не может быть согласован с типом традиционного немецкого характера (педантичного, неторопливого, сдержанного, сосредоточенного в себе). Он порывист, скандален, дерзок, поминутно воспламеняется, вяжется в разговор с "пылкостью" (5, 137), его отличают грубость, нахальство. Любая реплика *Ферфичкина* похожа на маленький "взрыв", "фейерверк", сопровождаемый "сверканием", резкими выпадами, остревением, криками, оскорблениями ("вцепился *Ферфичкин*, покраснев, как рак"; "вы это что, сударь вы мой, раскудахтались – а? вы не с ума ли уж спятили, в вашем департаменте?" – 5, 144; "за это по роже бьют!" – 5, 146 и т.д.). *Ферфичкин* "взвизгивает", "шипит", "пылко вяжется" – все эти мелкие детали тоже раскрывают его характер, дописывают портрет человека с очень странной, с точки зрения русского языка, неблагозвучной, неблагородной фамилией, ни в коем случае не могущей соревноваться в благозвучии, например, с такими, как *Онегин*, *Печорин*, *Ордын*, *Арбенин*. Следовательно, *Ферфичкин* не только по звуку, но и по смыслу – фамилия, раскрывающая и характер, и профессию героя (судя по выявленным значениям, – фейерверкера, пиротехника, артиллериста). По отношению к Парадоксалисту, гражданскому чиновнику, "штафирке", со стороны *Ферфичкина* наблюдается неоправданное презрение, высокомерие к бывшему собрату ("в вашем

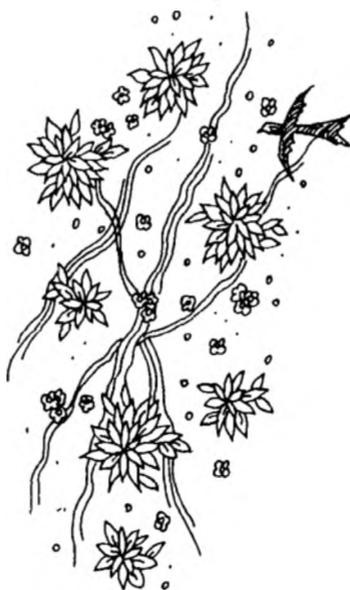
лепартаменте" – 5, 144). Это тоже добавляет "штрихи" к поведению героя, по праву своего военного служебного превосходства унижающего недостойного штатского.

Транслитерированная с немецкого на русский лад фамилия становится дополнительным указанием не только на военную специальность самого Ферфичкина, но и "подпольного человека", решительно оставившего карьеру военного после окончания школы, куда его "сунули" "дальние родственники" (5, 139). Так, фамилия одного из одноклассников героя "Записок из подполья" выполняет ещё одну (уже сюжетную) роль: она способствует соединению разбросанной и несвязной информации в единый узел значений. Здесь всё становится важным: и возраст поступающих в "школу" (около 16 лет), и отношение к "новичкам", и особые порядки, указывающие на тип школы (тип закрытого учебного заведения), и срок обучения в нём, и даже ненависть героя, явно непригодного к военной службе и оттого особенно старающегося встать "на равную социальную ногу" именно с "офицерами", перед ними утвердить своё человеческое достоинство, значимость своей личности. Парадоксалист, Симонов, Трудолюбов, Ферфичкин и Зверков – воспитанники одного военного училища. Достоевский перенёс в повесть многие черты из быта и порядков, известных ему из собственного опыта (по Главному военно-инженерному училищу), характерных вместе с тем не только для обычаев инженеров.

Фамилией *Ферфичкин*, как было показано, писатель определяет другой адрес: не своего, а артиллерийского училища. Однако это – уже особая тема.

Достоевский в "Записках из подполья" документально воссоздаёт атмосферу времени, пользуясь принципами поэтики "натуральной школы". Сороковые годы восстановлены с очерковой точностью, со скрупулёзностью петербургских "физиологий". Помогает писателю в этом и значение фамилии *Ферфичкин*.

Владивосток



"Звучащая и говорящая плоть..."

Акмеисты о природе слова

Л.Г. КИХНЕЙ,

доктор филологических наук

Вопрос о природе слова – один из центральных в системе акмеизма, его теоретическая и поэтическая разработка (особенно Осипом Мандельштамом и Николаем Гумилёвым) во многом определила принципы поэтики новой школы. Слово осмысливается акмеистами в различных измерениях: в сопоставлении с Божественным Логосом, явлениями внешнего мира, представлениями, возникающими в сознании.

Одно из "измерений", в котором бытует слово в акмеистическом контексте, – это пространство взаимоотношений слова и вещи. Акмеисты считали, что слово должно быть не просто знаком вещи. Их взаимоотношения в идеале – это особого рода тождество, тождество взаимовоплощения.

Эта тема становится истоком постоянных медитаций Осипа Мандельштама в начале 20-х годов. «Христианин, – пишет он в статье "Слово и культура", – а теперь каждый культурный человек – христианин, не знает только физического голода, только духовной пищи. Для него и слово – плоть, и простой хлеб – веселье и тайна». Далее читаем: "В жизни слова наступила героическая эра. Слово – плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание". Сущностную специфику русского языка поэт усматривает в обладании "тайной свободного воплощения", благодаря чему наш родной язык *"стал именно звучащей и говорящей плотью"* (Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 168, 170, 176; далее – только том и стр.).

Источником этого суждения явилась евангельская цитата "Слово стало плотью" (Иоанн. 1,14), истолкованная акмеистами не только как вочеловечивание Логоса – Второй Ипостаси Святой Троицы, но и в прямом, буквальном смысле. "Свободное воплощение" слова восходит к православно-христианскому представлению о Логосе, как слове "личного и живого" Бога, окликающего этим словом вещи, творя их тем самым "из ничего". "Божественным словом, – пишет В.Н. Лосский, – мир вызван из своего небытия, и есть слово для всего существующего, слово в каждой вещи, для каждой вещи, слово, которое является нормой его существования и путём к её преображению" (Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991. С. 229). У Мандельштама эта идея обретает как бы и обратный ход: в кризисный исторический час оплотнённость вещей истончается, и в них проступает их логосный первообраз.

Рассматривая слово с точки зрения его "логосной" природы, акмеисты пришли к выводу, что оно, слово, есть инобытие вещи. Однако небрежное обращение со словом, сугубо утилитарное его использование привело к тому, что многие имена вещей утратили первоначальный смысл и в качестве простых ярлыков стали бесконечно далёкими от своего сакрального прообраза – Божественного Логоса, и от тех первослов, которыми Адам именовал мир. Ведь, как принято считать в христианской богословской традиции, язык Адама "совпадал с самой сущностью вещей" (Лосский В.Н. Очерк мистического богословия. С. 240). В современности эта идентичность утрачена, именно поэтому, согласно финальному стиху гумилёвского "Слова", "дурно пахнут мёртвые слова". А для того чтобы "воскресить" слово, по акмеистическим представлениям, надо восстановить адекватность слова и вещи, найти для вещей имена, точно выражающие их сущность.

Становится понятной и этимология альтернативного названия течения – адамизм. Адама акмеисты трактовали как первого поэта и мыслили себя "современными Адамами" не из-за своих "звериных добродетелей" (как иронически заметил Гумилёв в своём манифесте), а

в связи с присущим им пафосом семантического первооткрывательства. Согласно Книге бытия, именно Адам нашёл для вещей имена, придав им тем самым статус осмысленного существования в человеческой сфере.

Вещи, в понимании акмеистов, только в имени обретают бытийственный статус. Поэтому они томятся без имён, стремятся их получить. Именно в этом контексте следует понимать стихотворное утверждение Мандельштама:

Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имён.
Но тайные ловит приметы
Поэт, в темноту погружён. (1,278)

По сути дела, слово для акмеистов – смыслообразующая основа вещи. Вещь без имени не существует, выпадает из структуры человеческого бытия. Отсюда следует, что не слово зависит от вещи, а скорее – наоборот. Одну и ту же вещь можно назвать разными именами: в зависимости от этого в ней будут проступать разные смысловые грани.

"Разве вещь хозяин слова?" – вопрошает Мандельштам и находит ёмкий образ-определение, выявляющий специфику их связи: "Слово – Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела" (2,171).

Прибегая к метафоре, Мандельштам утверждает, что слово связано с вещью, как душа с телом. С одной стороны, оно может свободно воплощаться в вещь, с другой – так же свободно покидать её. При таком подходе "психейность" оборачивается семантической подвижностью слова, потенциальной многозначностью, то есть способностью актуализировать разные смыслы.

Есть и ещё одна грань акмеистической концепции слова – особые отношения вещи и сознания. Дело в том, что слово играет в этих отношениях ключевую роль. Слово, по Мандельштаму, есть обнаружение идейного ядра образа, существующего в сознании, – того, что древние греки называли "эйдосом" предмета. Самое правильное, пишет Мандельштам, – "рассматривать слово как образ, то есть словесное представление" (2, 183).

Тогда получается, что в слове "смыкаются" вещь и сознание. Причём по отношению к представлениям, возникающим в сознании, слово играет роль плоти, в слове мыслимый образ материализуется, воплощается, "оплотняется". По отношению к вещи, напротив, слово играет роль "души", поскольку, становясь словом, вещь лишается своей плоти, конкретной телесной оболочки.

Таким образом, слово является как бы "двуликим Янусом", повернутым к сознанию, но одновременно – и к вещи. Позднее видный философ-герменевтик Х.-Г. Гадамер напишет: "Мышление, ищущее себе выражение, соотносено не с духом, а с самой вещью. Поэтому слово есть не выражение духа, а образ вещи. Мыслимое состояние вещи и слово теснейшим образом связаны между собой. (...) Слово, как пишет Фома Аквинский, подобно свету, в котором краски впервые становятся видимы" (Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 495–496). Гадамер будто философски формулирует то, что уже существовало в сознании акмеистов – представление о том, что задача поэта – выразить мыслимое состояние вещи в слове.

Значимым в творчестве акмеистов становится мотив материализации до-звукового, до-речевого образа. Знаменательно, что и в поэзии символистов эта тема являлась одной из принципиальнейших. Разница в трактовке этой темы в акмеизме и символизме позволяет выявить кардинальное различие обеих систем.

Сравним тематически близкие стихотворения: "Я слово позабыл, что я хотел сказать..." (1920) О. Мандельштама и "Художник" (1913) А. Блока. В обоих речь идёт о процессе созидания поэтического произведения, муках творческого воплощения, только у Блока – удавшегося, а у Мандельштама – неудавшегося. И в том и в другом нанизываются контрастные или разнородные мыслеобразы. Ср.:

С моря ли вихрь? Или сирины райские
В листьях коют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит?

(А. Блок)

И медленно растёт, как бы шатёр иль храм,
То вдруг прикинется безумной Антигоной,
То мёртвой ласточкой бросается к ногам,
С стигийской нежностью и веткою зелёной.

(О. Мандельштам)

Перечисление возникающих ассоциаций, мгновенно сменяющих друг друга (этому служат однородные синтаксические конструкции), создаёт эффект неуловимости, эфемерности образов, которые надо хоть как-то обозначить, "закрепить". Причём и у Блока и у Мандельштама предтворчество, его пред-семантическое состояние передано метафорой "звона", нерасчленённого звучания ("Лёгкий, доселе не слышанный звон" – у Блока, "туман, звон и зиянье" – у Мандельштама). Но у Блока "звон" ассоциируется с тем, что должно спасти его душу, творчество

открывает путь в "миры иные". Проклятием для поэта, по Блоку, является то, что он замыкает это бесплотное прозрение, сверхчувственную весть – в чувственные формы. Птица, хотевшая "душу спасти" и "смерть унести", оказывается в клетке – лирический герой лишается возможности обрести чаемое бессмертие.

Причастность к мистическому "звону", по Блоку, должна обеспечить переход души в некое высшее качество, причём без посредства слова. Но тут вмешивается "творческий разум", разрушающий экстатическое состояние души. Он "закрепляет и убивает" эту весть. Словесное творчество оказывается "убийством". С одной стороны, оно лишает душу бессмертия, мешает погрузиться в стихию музыки. С другой – умерщвляет "музыку сфер", переводя её в словесно закреплённую форму, которую поэт олицетворяет в образе птицы с подрезанными крыльями. "Подрезанные крылья" – знак завершённости творческого процесса, убийства вдохновения.

У Мандельштама немало "полемических" переключек с блоковским стихотворением, так что возникает впечатление буквальной полемики с предшественником. Так, "слепая ласточка... на крыльях срезанных" – это отнюдь не воплощённое, оформленное слово, а слово как раз нерождённое, возвращённое в беспомыслие. Образ изувеченной птицы относится не к завершённому творческому процессу, а к процессу оборванному, не смогшему вылиться в создание произведения.

В стихотворении Мандельштама совершенно изменена структура творческого субъекта. Если у Блока – стремление лирического героя слиться с "чистым" звучанием, уйти в потусторонний мир, то у Мандельштама – ужас перед этим "беспомысливающим", ещё на уровне музыки остающимся словом. У Блока стремление разума "осилить", "закрепить" в слове "лёгкий, доселе не слышимый звон" проваливается. У Мандельштама, напротив, умение распознать в "мучительном" музыкальном потоке завершённые смыслообразы и передать их в чувственно воспринимаемых формах – то, чего взыскует душа поэта, о чём она молится:

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья!
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья!

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольётся...
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернётся.

"Проклятость" состояния мандельштамовского героя – в том, что когда императив музыки не может реализоваться в слове, то сама

мысль оказывается бесплотной и возвращается в царство мёртвых. Для Мандельштама смерть связана с понятием небытия, отсутствия, провала, что в стихотворении выражено в лексеме "зияния", а на фонетическом уровне это ощущение гениально передано скоплением трёх гласных на стыке слов ("рыданья Аонид").

Возвращению слова в "царство теней" соответствует и погружение души поэта в царство мёртвых (ср.: "Когда Психея-жизнь спускается к теням..."). Душа, по Мандельштаму, может по-настоящему родиться на свет только вместе со словом.

Итак, если у Блока акт творческого воплощения убивает у поэта надежду на бессмертие, то у Мандельштама, наоборот, именно оборванный, несостоявшийся творческий акт обрекает душу поэта оставаться в царстве теней. Если у Блока воплощение слова – проклятие, то у Мандельштама проклятие – невоплощение.

Фактически в контрапункте двух текстов выражено противостояние двух типов поэтического мироощущения. Для поэта-символиста реальное слово – лишь материальный знак, приблизительно передающий звуки небес. Поэту-акмеисту первичная стихия невоплощённого, растворённого в музыке слова внушает страх. Существовать для поэта – значит ответить на зов ещё не рождённого слова, дать ему шанс жить в чётких, завершённых формах. А сбой в творческом процессе – невозможность для слова родиться – ввергает акмеиста в состояние смертной тоски.

Все акценты оказываются радикально переставленными. В одном случае высшей ценностью обладает несказанное, и его воплощение связано с резко негативными эмоциями. В другом случае лишь наделение мыслеобраза звукословесной и осязательной плотью придаёт ему онтологический статус, тогда как невоплощённое граничит с небытием и внушает ужас.

*г. Нерюнгри
Якутия*



"Часть речи" Иосифа Бродского

Л.Л. БЕЛЬСКАЯ,

доктор филологических наук

*Всё исчезает – остаётся
Пространство, звёзды и певец!*

Осип Манделштам

... И долговечней царственное слово.

Анна Ахматова

Многие любители поэзии, почитая Иосифа Бродского как Нобелевского лауреата, считают его поэтом для избранных, для интеллектуалов, а его стихи трудными для восприятия и понимания.

Поэзия И. Бродского, действительно, требует и духовного напряжения, и сотворчества, и определённого багажа гуманитарных знаний. Но уверяю вас, что это не тяжкий, а радостный труд. Напрягитесь – и перед вами откроется неведомый и удивительный поэтический мир.

Попробуем хотя бы чуть-чуть прикоснуться к этому миру и обратимся к стихотворному циклу поэта "Часть речи" (1975–1976). Знакомство поначалу может смутить читателя, вышедшего из школьного возраста, своей сугубо грамматической окраской. Но не будем торопиться...

Первая же строка стихотворения, открывающего цикл, ошеломляет: "Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря...". Что это – речь сумасшедшего, наподобие гоголевского Поприщина, написавшего в дневнике: "мартобря 86 числа", или отчаянный голос любви из небытия – вне пространства и времени? Следующие строки не развеивают атмосферы загадочности и неопределённости. Неизвестно, кому адресовано послание и кем:

дорогой, уважаемый, милая, но не важно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях...

Постепенно проясняется – откуда: из Америки, из затерянного на самом дне долины и занесённого снегом "по ручку двери" городка – и когда: зимой и поздно ночью. Но главной остаётся любовь, которая торжествует над временем и пространством: вспоминаются забытые черты, "вы" превращается в "ты", а "он" – в "я" ("я любил тебя"). Лирический герой испытывает душевные и физические мучения, которые оборачиваются и муками слова («мычащее "ты"»), поминает и Бога, и чёрта, не называя их: "я любил тебя больше, чем ангелов и самого,/ и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих...". А в конце "не вспомнить" сменяется "твои черты...повторяя", но "как безумное зеркало": неугасшая любовь граничит с сумасшествием.

Мотивы памяти и забвения ("В памяти, как на меже...", "снится то, что было", "Ты забыла деревню, затерянную в болотах"), одиночества и заброшенности ("никого кругом", никто, нигде, некуда, негде), безумия ("если сойдёшь с ума", "пыль безумия") пройдут через весь цикл, состоящий из 20 стихотворений, и отзовутся в последнем, двадцатом ("Я не то, что схожу с ума, но усгал за лето"). И захочется возвращения зимы, когда занесёт снегом (как в № 1) города, человек, зелень; а вместо бессонной ночи – потерянный день и сонливость, на смену взрыву отчаяния (в зачине) приходит усталость. Да, любовь утрачена, но обретена свобода. Пусть мозги перекручены, но нет причин оплакивать свою жизнь: "и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,/ничего не каплет из голубого глаза".

Однако не эти мотивы определяют смысловой стержень цикла. Обратим внимание на его название и задумаемся: что оно означает?

В своих многочисленных высказываниях о поэзии И. Бродский неоднократно подчёркивал, что искусство слова имеет своим предметом и целью язык, что в слове заключён смысл мира, что "голос Музы" – это, на самом деле, "диктат языка", и не язык является "инструментом поэта", а "он – средством языка к продолжению своего существования" ("Нобелевская лекция", 1987 – см.: Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. СПб., 1992. Т. I. С. 5–16; об отношении И. Бродского к языку, речи, слову см.: Ранчин А.М. Философская традиция Иосифа Бродского // Лит. обозрение. 1993. № 3–4; Шунейко А.А. "Но мы живы, покамест есть прощенье и шрифт": Взгляд на мир Иосифа Бродского // Русская речь. 1994. № 2). Интересно проследить, как эстетические взгляды писателя воплощаются в его цикле "Часть речи".

Уже в первом стихотворении намечается основная тема, заявленная в заголовке, – вначале в форме обращения ("дорогой, уважаемый, милая", "вас приветствует"), словно на наших глазах, в нашем присутствии пишется письмо. Затем появляются глаголы говорения ("говоря откровенно", "как не сказано ниже") и "мычащее" слово "ты". И весь текст строится скорее не как письменная, а как устная речь, высказанная залпом, на одном дыхании, но задыхаясь и запинаясь, – в одной фразе, растянувшейся на 16 строк, то без знаков препинания, то с обилием их, с однородными перечислениями и пропуском слов, резкими переносами.

Начав цикл с "приветствия", автор во втором стихотворении "Север крошит металл, но щадит стекло" произносит слово прощания – "прощай". И оно чернеет, – как остов "Седова" во льдах, – в гортани, "где положен смех,/или речь, или горячий чай...". Так впервые упоминается орган речи, её производящий, позже добавятся уста, рот, язык, зубы. А учился говорить и писать поэт на Севере с его морозами и снегами: север учил «гортань проговорить "впусти"/Холод меня воспитал и вложил перо/в пальцы, чтоб их согреть в горсти».

В третьем стихотворении "Узнаю этот ветер, налетающий на траву..." совершается скачок от биографического прошлого к историческому, и реалии сегодняшнего дня вызывают неожиданные ассоциации, уводящие нас то ли в Киевскую, то ли в Московскую Русь: трава ложится под ветром, "точно под татарву", лист падает в придорожную грязь, "как обagrённый князь", кайсацкое имя звучит, "как ярлык в Орду". И тут отчётливо выявляется ещё одна грань речи – отголоски чужих изречений: "я не слово о номер забыл говорю полку". В этой бессвязной фразе проглядывают и "Слово о полку Игореве", и мандельштамовские "Я слово позабыл, что я хотел сказать" и "Петербург! Я ещё не хочу умирать:/ У тебя телефонов моих номера".

Смысл заглавия цикла всё углубляется и расширяется, включая в себя диалогическую речь (ты забыла, ты не птица, зазимеем же тут,

как сказал пилот одного снаряда) с обрывками прямой и глагольными "ремарками" ("прощай", "впусти", оттиск "доброй ночи" уст, "не имеющих сказать кому"); речевую артикуляцию, органы произнесения и звучание речи (имя шевелит язык во рту, блеклый голос, "перекаты-вающийся картово", "взвизгнув"); буквы русского алфавита, слова и грамматические понятия: «улица вдалеке сужается в букву "У"», «и при слове "грядущее" из русского языка...», "За сегодняшним днём стоит неподвижно завтра./ как сказуемое за подлежащим"). А звуки и голоса природы и внешнего мира – тоже речевые знаки: раздаётся снег, куст кричит жимолостью, "не разжимая уст"; жужжит пуля, "беспричинно поскрипывают стропила", хлопают ставни и кипит чайник, "Дребезжащий звонок серебристый иней/ преобразил в кристалл".

Многообразна речевая деятельность, и одна из её ипостасей – поэтическая речь, которая становится главной "героиней" цикла. Её сопровождают неперемненные атрибуты писательского труда – перо и бумага. Буквы, слова, рифмы – её строительный материал. И. Бродский сравнивает слова, наколотые на буквы, со "сложенными в штабеля дровами", и это сопоставление невольно ассоциируется с одинаковыми 12-строчными "кубиками" стихотворений (кроме первого) без строфического членения, с длинными стиховыми рядами (преимущественно 5–6-ударный дольник), с запутанным синтаксисом и частыми переносами, обрубающими строки, в том числе после союзов, частиц, предлогов: *и, но, что, ни, на.*

Деревянный лаокоон, сбросив на время гору с плеч, подставляет их под огромную тучу. С мыса налетают порывы резкого ветра. Голос старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла. (№ 6)

Выстраивая цепочку звук-слово-смысл, поэт особое значение придаёт рифме, но отказывается от традиционного сравнения её с эхом (см. пушкинскую "Рифму"), отмечая его недостаток на родных равнинах. А уподобляет рифмы морским волнам, набегаящим по две, различая и в тех, и в других "не рокот./но хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник./кипящий на керосинке, максимум – крики чаек" (№ 7). И значит, возможны и естественны приблизительные и неточные рифменные созвучия: *поводьям–проводим, карте–карпе, люцерной–бесценной, прилив–прилив, спичкою–писчую, поле–пуле, немое–ярмо и, темпа -- тем, что.*

Впуская нас в свою творческую лабораторию, И. Бродский описывает в двух стихотворениях цикла (№ 12 и 18) самое "тайное тайных" – процесс рождения поэтического произведения. Сначала ("Тихотворение моё, моё немое...") поэт ощущает душевное смятение, задаёт себе мучительные вопросы: "куда пожелуемся на ярмо и/кому поведаем, как

жизнь проводим?". Он не может уснуть поздно за полночь и следит за "глазунией луны". И вот осколки впечатлений, мыслей, эмоций "стряиваются" на бумагу, как "пыль безумия". Нет, тут не пушкинское "Минута – и стихи свободно потекут" (хотя и слышатся ямбические ритмы), а скорее "ярём... барщины старинной", ибо именно эти понятия (ярмо, тяглое) применяет И. Бродский к работе поэта. Замысел ещё не оформился – "ломоть отрезанный", "тихотворение немое" (лишённое начальной буквы) кажутся борзописью с намазанной патокой. Но совершается таинство, сходное со святым деянием – преломлением хлеба ("...но с кем в колене и/в локте хотя бы преломить, опять-таки,/ломоть отрезанный, тихотворение?").

Потом наступает второй этап – озвучивание немого стихотворения, превращение его в песню ("если что-нибудь петь, то перемену ветра..." – № 18). Автор как бы смотрит на себя со стороны, видит "пишущего эти строки пером", в странной позе, "сбившимся напрочь с темпа"; слышит скрип замёрзшей ветки, выстрел в поле, свой кашель, летящий к лесам Дакоты, и собственный голос. Из всех этих звуков и рождаются стихи.

Иногда голова с рукою
сливаются, не становясь строкою,
но под собственный голос, перекатывающийся картаво,
подставляя ухо, как часть кентавра.

Соглашаясь с Анной Ахматовой, что стихи "действительно растут из сора" ("Нобелевская лекция"), И. Бродский широко впускает в них мелочи быта, повседневные вещи, житейские поступки, просторечия, вульгаризмы. Но его поэзия вбирает в себя всю полноту жизни – от любовной тоски до чучела на огороде, от чувства истории до "лакомых кусков" памяти, от экстремальных ситуаций до "худобы голых деревьев", от философских раздумий до самоиронии: "На пустой голове бриз шевелит ботву". Да и сор воспринимается как "праздник пыли", как "пыль безумия".

Поэтическая речь способна запечатлеть всё и останавливать мгновения, ей дано преодолеть разлуку и распад, пространственные и временные расстояния ("через тыщу лет") и «великое "Ничто"» (Жолковский А.К. "Блуждающие сны": Из истории русского модернизма. М., 1992. С. 277–282). Прежде чем сформулировать основную мысль "Части речи", автор на протяжении цикла разыскивает всяческие следы от всего преходящего и мимолётного. Каблук оставляет следы зимой, как и заяц, петляя по снегу, однако их вскоре замечает (№ 5, 14, 18). Парадоксально, но "взгляд оставляет на вещи след", а отпечаток произнесённых слов может сохраниться в окаменевшем моллюске (№ 4). В предпоследнем стихотворении цикла «...и при слове "грядущес" из рус-

ского языка...» (№ 19) после сопоставлений памяти с дырявым сыром, а жизни, которая "обнажает зубы при каждой встрече", – с дарёной вещью даётся окончательный вывод, повторенный трижды: "От всего человека вам остаётся часть/речи. Часть речи вообще. Часть речи".

А завершается цикл ещё одним итогом – способность жизни показывать зубы не отменяет её ценности, даже если чувствуешь себя усталым или близок к помешательству. И важнейшая из ценностей – ощущение свободы, без чего невозможно ни жить, ни творить.

Свобода –

это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираз...

В этой афористической формуле сливаются воспоминания о советском прошлом, когда собственное имя напоминало об отчестве тирана, и сладостный вкус нынешней свободы, и вкушение поэтических "сладостей" (ср. у Пушкина: "слова слаще звуков Моцарта", у Есенина: "Как бы ни был красив Шираз..."), восточную мудрость: сколько ни повторяй слово "халва", во рту слаще не станет.

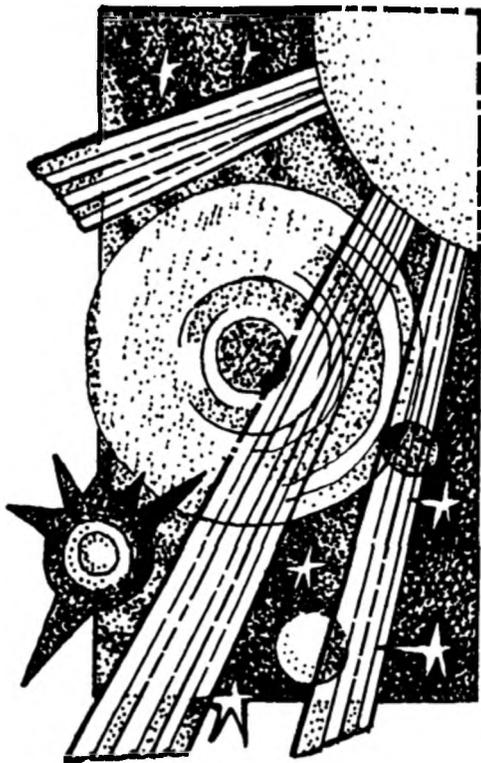
Обращение И. Бродского к культурному контексту разных эпох (от Шивы и Лаокоона до "пылкой речи" фюрера и финального упоминания о чтении "чужой книги") нередко носит скрытый характер аллюзий-намёков. Так, в первом стихотворении, кроме гоголевского "мартобря", проскальзывают отзвуки пушкинской лирики (твои черты, забьгть-вспомнить, замена "вы" на "ты"), ахматовского мотива зеркала и строчку из "Поэмы без героя": "Ты в Россию пришла ниоткуда", "слова простого: как мычание" и "надцатого года" Маяковского. Такие мелкие "осколки" чужих текстов рассыпаны по всему циклу, и не всегда можно угадать источники. "Кому поведаем, как жизнь проводим?" – не от библейского ли "Кому поведам печаль мою?" – в осовремененном, прозаизированном виде? "Узнаю этот ветер...", татарва, раненый князь, Орда перекликаются с блоковским "На поле Куликовом" и особенно со стихами "Но узнаю тебя, начало/Высоких и мятежных дней!". Возможно, аукнулись блоковские "гати" ("Гатей, дорог и столбов верстовых") и есенинские "буераки" ("Буераки, пеньки, косогоры/Обпечалили русскую ширь") в строке "и дорогой тоже всё гати да буераки" (№ 11).

В отличие от своих предшественников, поэтов "серебряного века", Иосиф Бродский любит и откровенное цитирование с шутливым и пародийным обыгрыванием цитат. В роли последних чаще всего выступают "ходящие истины" – научные аксиомы, школьные правила, народные пословицы, популярные песни: "сумма мелких слагаемых при перемне мест/неузнаваемое нуля" (№ 14), "Насчёт параллельных линий /всё оказалось правдой и в кость оделось..." (№ 13), "как в поисках милой всю-то/ты проехал вселенную..." (№ 15), "Каждый

охотник знает, где сидят фазаны, – в лужице под лежащим" (№ 6; забавная контаминация мнемонического приёма для запоминания цветового спектра и пословицы "Под лежащий камень и вода не течёт"), "Жизнь, которой, как дарёной вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече" (№ 19); пословичный конь обернулся вещью, а зубы – пастью: "Дарёному коню в зубы не смотрят"). Расподобляя и переосмысливая затверженные догмы, нормативные "указатели", поэт посмеивается над "готовыми" истинами и убеждён, что их надо испытывать на себе или добывать самому и каждый раз заново.

Итак, от человека остаётся "часть речи" – поэтическое слово. В нём воплощается целый мир – природа, история, культура. И без него немислимо человеческое существование. Если поэзия не может спасти мир, то спасти "отдельного человека всегда можно" ("Нобелевская лекция"). Это завет великого поэта, недавно ушедшего из жизни, нам, его современникам, стоящим на пороге нового тысячелетия.

*Цфат
Израиль*

О переводах и переводчиках**Данте по-русски**

*Е.И. МАКЕДОНСКАЯ,
ученый секретарь Дантовской комиссии*

На полдороге странствий нашей жизни...

Возможно, читатель узнал начало "Божественной Комедии" Данте – первый стих первой песни "Ада" (в дословном же переводе с итальянского – "В середине пути нашей жизни"). Но на памяти многих иное её звучание:

Земную жизнь пройдя до половины...

Именно такое. Это – ставший хрестоматийным перевод М.Л. Лозинского, лучший среди всех предыдущих попыток поэтической интерпретации "Комедии" в России.

Таких попыток и в прошлом, и в нашем веке было много. П.А. Катенин, С.П. Шевырëв, Д.Е. Мин, В.Я. Брюсов, В.И. Иванов – лишь те, которые оставили наиболее яркий след в истории перевода Дантова творения. Лозинский, в военные годы мучимый неизлечимой болезнью, которая и свела его в могилу, предпринял, по словам Анны Ахматовой, «подвиг своей жизни – перевод "Божественной Комедии"», и этот перевод вот уже более полувека считается непревзойдённым.

А что же мы процитировали вначале? – Новый её перевод председателя Дантовской комиссии РАН, профессора МГУ Александра Анатольевича Илюшина, уже обративший на себя внимание как в России, так и в Италии (в числе откликнувшихся на него в печати – академик М.Л. Гаспаров, итальянский литературовед-русист Витторио Страда, переводчик Микеланджело и Тассо А.Б. Махов).

Перед нами восьмисотстраничный фолиант, выпущенный филологическим факультетом МГУ на исходе 1995 года. Он одет в нарядную суперобложку, на которой в рамке с флорентийскими лилиями по углам под всевидящим оком, взирающим из центра девяти ангельских кругов, помещена композиция из трёх расцветенных художником Ю.М. Славновой фигур. Это рисунки С. Боттичелли: все трое – Данте. Эта "троица", по замыслу Славновой, должна, по-видимому, соответствовать путешествию Данте по Аду, Чистилищу и Раю. В книге, в том числе и на форзацах, также использованы боттичеллевские рисунки. Открывает же её гравюра В.Ю. Розенталя (к сожалению, имя художника нигде не указано, как, впрочем, и Боттичелли), изображающая Данте-воина с мечом, на рукояти которого тоже флорентийская лилия. Но если рисунки Боттичелли известны многим, а гравюра Розенталя лишь тем, кто держал в руках "Дантовские чтения. 1971", то приведённые в новом издании схемы Ада, Чистилища и Рая, взятые Илюшиным из разных итальянских изданий, появились в России впервые, как и полный перевод "Комедии", сопровождаемый его же вступительной статьёй под названием "Ещё один разговор о Данте" и примечаниями. Вопрос: почему "ещё один разговор..."? Потому что первый уже был. В 1933 году Осип Мандельштам написал эссе "Разговор о Данте", в котором, кстати, называл поэта, как подчас и Пушкин, и многие другие писатели, – Дант...

Но зачем нужен новый перевод, если уже есть первоклассный, получивший всеобщее признание? Этот естественно возникающий вопрос ставит сам Илюшин, предваряя недоумение читателя, и убедительно отвечает, зачем. "Начнем с того, – пишет он, – что Данте – поэт-сил-

лабист, а переводили его у нас – это касается и Лозинского – силлаботоническим стихом, чередуя мужские и женские пятистопные ямбы. Таким образом, до сих пор не было эквиметричного перевода, – то есть силлабического". Илюшин объясняет это тем, что господствовавшая в русской поэзии XVII – начала XVIII веков силлабика была погребена реформой Тредиаковского – Ломоносова, и к ней с тех пор почти не обращались. А именно она соответствует строю итальянского стиха более, чем какой-либо другой наш стихотворный размер. И именно этим стихом Илюшин перевёл "Комедию" – силлабическим 11-сложником, в котором лишь 10-й слог постоянно ударный. Такими "шершавыми", на современный вкус, ритмами у нас пользовались Кантемир и кое-кто из его предшественников. "Читатель, не привыкший к силлабике, – полагает Илюшин, – может скептически отнестись к её ритму: какой-то спотыкающийся, местами судорожный, негладкий, то и дело всевозможные сбои и перебои. Другое дело, привычный ямб – свободно скользишь по тексту и голосом и глазами, никаких при этом неудобств". Попробуем сравнить. Вот в переводе Илюшина 10-я терцина первой песни "Ада":

Не знаю, как в том лесу очутился, –
Во сне ль блуждал по его бездорожью.
Когда с пути я истинного сбился...

А вот версия Лозинского:

Не помню сам, как я вошёл туда,
Настолько сон меня опутал ложью,
Когда я сбился с верного следа.

Или возьмём вторую песнь "Чистилища", в переводе 31-й терцины которой Илюшин отошёл от метра Данте:

Без руля и без ветрил сей фелуке
Вольно плавать, не расчётом ведомой,
А крылами, что мудрее науки.

У Лозинского же:

Смотри, как этот, в праведной гордыне,
Ни вёсел не желает, ни ветрил,
И правит крыльями в морской пустыне.

Можно вообразить спор между двумя переводчиками. Младший укоряет старшего за то, что тот, нарушая ритмику оригинала, использовал ямб и сочетал 11-сложные стихи с 10-сложными там, где у Данте сплошь 11-сложные. А старший ему возражает: сам "хорош"! В твоей терцине – в каждой строке – и 4-й и 6-й слоги безударные, в итальянском 11-сложнике так не бывает! Кто прав? Оба. Взаимные упреки

могут быть взаимно-справедливыми. Хорошо ещё, что ритмически "дефектная" терцина – исключительная редкость в илюшинском переводе.

Читать силлабический стих – нелёгкий труд. Впрочем, каким бы стихом ни был переведён Данте, читать его всегда нелегко. А каких же усилий стоило переводить его? Да ещё силлабикой, приближающей нас к проникновению в тайну языка и стиха Данте. Причём проблема адекватной передачи дантовского стиха полностью не разрешается обращением к силлабике – возникает масса побочных и смежных проблем. И хотя интерес к русскому силлабическому стихосложению в последнее время возрождается наряду с пробуждением интереса к древнерусской культуре вообще, не только ради этого Илюшин принёс в жертву лёгкость и красоту слога, которыми так привлекает перевод Лозинского. Он предложил совершенно иную и стиховую форму, и языковую манеру, и стилистику: насытил текст архаизмами – не только теми, что ещё не стёрлись из нашей памяти. И всё это во имя того, чтобы передать архаику оригинала. Примером могут служить заключительные строки "Рая":

Воображенье, мощь теряя, снигло,
Но волю, жажду, иже мя ведоста.
Влекла кругами извечного цикла
Любовь, что движет и солнце и звёзды.

(Здесь следует пояснить, как это и сделано в примечаниях к книжному изданию, что древнерусское "иже мя ведоста" означает "которые меня вели".)

По поводу обилия архаизмов нелишне вспомнить слова Мандельштама: "дантовы люди жили в архаике, которую по всей округности омывала современность". Однако при этом он уточнял: "Немыслимо читать песни Данта, не оборачивая их к современности. Они для этого созданы... Его современность неистощима, неисчислима и неиссякаема".

Автор нового перевода этих песен в свою очередь считает, что Данте не менее современен сейчас, в глазах теперешнего поколения, чем во времена Мандельштама и Лозинского. Он убеждён, что история переводов "Комедии" не завершена, поскольку, все более привлекая к себе новые поколения, она востребует новые поэтические интерпретации и, как говорится, "последнего слова здесь никто не сумеет сказать". Тем не менее (скажем от себя), выполненный перевод – это большое событие в истории культуры и большая смелость. Огромный, почти двадцатилетний труд предшествовал этому изданию. По мере появления перевода, главы с "наблюдениями над текстом" в 70–90-е годы печатались в "Дантовских чтениях", которые после смерти в 1994 году их основателя И.Ф. Бэлзы возглавляет А.А. Илюшин.

В 1988 году издательство "Просвещение" выпустило для старших школьников "Божественную комедию" в лучших переводах, причём составителем, автором вступительной статьи и примечаний был Илюшин. В этой книге полностью помещён текст "Ада", из 34-х песен которого 17 – Илюшина. Почему "Ад" здесь представлен полностью, а "Чистилище" и "Рай" – с сокращениями и отчасти в облегчённом пересказе? Потому что именно первая кантика стала самой читаемой, "близкой" человечеству, несмотря на все описанные в ней ужасы, а может быть, как раз и благодаря им. Легче было поверить в подлинность безысходного отчаяния обречённых мучиться в Аду, чем в подлинность безмятежного счастья на небесах (и читать, и понять "Рай" из-за чрезвычайно сложной зашифровки текста труднее).

Новый перевод Данте высоко оценён в Италии. Презентация книги состоялась в Риме, Флоренции и Болонье, в старейших университетах которых Илюшин выступил на итальянском языке с лекцией "Данте в России". Экземпляры книги были переданы в университетские библиотеки этих городов на память о русском профессоре, поэте-переводчике самого великого произведения великого флорентийца, как вклад нашего соотечественника в мировую дантологию. А в 1996 году труд переводчика был отмечен на родине Данте вручением Илюшину золотой именной медали города Флоренции.

23 июля 1942 года на филологическом факультете МГУ состоялось заседание, посвященное памяти выдающегося ученого-лингвиста, члена-корреспондента Академии наук СССР Дмитрия Николаевича Ушакова, ушедшего из жизни 17 апреля 1942 года.

О научной, педагогической деятельности Дмитрия Николаевича, об отдельных страницах его жизни говорили А.М. Еголин, Г.О. Винокур, С.И. Ожегов, В.А. Филиппов, С.С. Высотский, М.Н. Петерсон, Н.Н. Шепетова. Своими воспоминаниями об Учителе поделился с собравшимися и Александр Александрович Реформатский. Его выступление мы воспроизводим на наших страницах с незначительными сокращениями.

А.А. Реформатский

Труды Д.Н. Ушакова по русской орфографии и орфоэпии

Говорить о Дмитрии Николаевиче трудно. Вообще трудно говорить о нем как о несуществующем, когда еще так свежа память о нем. Но кроме того тут есть и нечто другое. Мне трудно как одному из его ближайших учеников касаться только отдельных каких-то его сторон, не упоминая всего другого, ибо каждый из нас стремится сказать что-то в целом о Дмитрии Николаевиче. Без этого нельзя обойтись, ибо для нас Дмитрий Николаевич весь дорог, в целом дорог, начиная с первых дней знакомства и кончая тем, как мы переживали его смерть; начиная с его лекций, на которых мы воспитывались как будущие работники науки, и кончая дружеской беседой, простыми житейскими наблюдениями, например, воспоминаниями о том, как он замечательно делал игрушки своим внукам. Все это делало для нас Дмитрия Николаевича чем-то неразложимым, и потому так трудно отвлечь какую-то одну сторону от этого целого.

Самое главное, что те интересы, которыми жил сам Дмитрий Николаевич, стали интересами и его учеников. В самом деле, что было центром внимания Дмитрия Николаевича? Нормы литературного языка, орфография, орфоэпия, диалектология, русская фонетика. Да, всем этим как раз мы и занимаемся. Не потому, что он нам велел, а потому, что невольно мы заинтересовались его интересом по всем этим дисциплинам, и мы гордимся, что можем так или иначе продолжать его интересы. Но для нас всех Дмитрий Николаевич был не только университетским учителем, профессором, он был нашим руководителем и

после того как мы перестали быть его учениками, а стали его сотрудниками. Он был нашим другом, ...нашим отцом, к которому мы действительно шли по любому поводу, будь то научный вопрос или наблюдение в жизни, или какая-нибудь тяжелая личная драма. Всегда мы находили у него ответ. И мысль, как бы к этому отнесся Дмитрий Николаевич, для нас, его учеников, была каким-то основным компасом, без которого мы жить не могли. Он был для нас во всех отношениях образцом: образцом ученого, образцом гражданина, образцом человека и джентльмена в самом высшем значении этого слова.

Меньше всего Дмитрий Николаевич похож на канонический тип ученого XIX века. Григорий Осипович [Винокур. – *Ред.*] прекрасно сказал о том, почему Дмитрий Николаевич не писал больших книг, а имел материалов больше, чем многие из тех, кто пишут большие книги. Это не было его потребностью. Я бы сказал, что это было не минусом в его научной характеристике, а может быть, даже плюсом. Неужели, в самом деле, идеал науки только в том, чтобы написать толстую книгу и потом говорить – вот столько-то и столько у меня таких больших кирпичей?

Не в этом дело, и заслуги Дмитрия Николаевича как ученого бесспорно проявятся еще больше в будущем, но и сейчас уже они совершенно очевидны. Мне хочется еще раз подчеркнуть то, что говорил Григорий Осипович, как жизнь и наука неизменно переплетались у Дмитрия Николаевича, как практика была той пружиной, которая регулировала всю деятельность Дмитрия Николаевича. Он обязательно должен был общаться с людьми, и он действительно общался и с учителями, и со студентами, и с аспирантами, и с учеными, с актерами, с докторами, с певцами, с режиссерами, с кем угодно, вплоть до чиновников разных ведомств, которые не знали, как надо писать название их собственного учреждения. И он охотно с ними общался. Иногда, казалось, зачем Дмитрий Николаевич идет к телефону, когда он может заниматься чем-нибудь более важным? Но он шел и нас научил не отгораживаться от практической жизни, не запирает окна своего кабинета, а, наоборот, слушать, наблюдать и широко давать другим то, что знаешь, это поразительное его бескорыстие, в котором мы все были воспитаны.

Отличительной чертой его научной личности являлось его органическое отвращение ко всякой риторике, ко всякому ложному пафосу. Зато он обладал огромным запасом настоящего реализма и богатейшей иронии. Но, пожалуй, существование еще одна черта, которая пронизывает всю его деятельность. Он был ученым, но он одновременно был и художником. Каждый его научный труд – это до некоторой степени художественное произведение. Он был художником в разных областях. Григорий Осипович рассказывал вам, что он был живописцем. Но он

был и актером, декламатором, во всяком случае, большим мастером устного живого слова. Он был не просто художник, но художник-наблюдатель, вооруженный научным методом. К тем или другим убеждениям Дмитрий Николаевич приходил, не столько исходя из дискурсивных рассуждений, сколько чутьем своего безошибочного вкуса. А в подборе примеров, в систематике, классификации он умел достигнуть воистину ювелирной отделки, ювелирного мастерства. Далее я вам приведу особо показательный в этом отношении его замечательный шедевр – этюд о "г" фрикативном в русском языке.

Как живописец, Дмитрий Николаевич был акварелистом. Именно эту область живописи он любил больше всего. Каждый раз, возвращаясь из Болшева, он привозил с собой целый запас чудесных нежных акварелей. Это были, главным образом, небеса. Он восхищался тем, до чего они разнообразны, и показывал целую серию зарисовок облаков и неба. Этот акварельный стиль пронизывал всю деятельность Дмитрия Николаевича и в других областях. Я бы сказал, что если пытаться охарактеризовать его как ученого, то нужно было бы назвать его камерным ученым. Больше всего не любил он схоластики, тривиальной книжности, книгоедства. Наоборот, вся его деятельность – это жизне-радостное, бодрое, лишенное всякой книжности, интуитивно богатое и заинтересованное утверждение жизни и в неразрывности с ней знаний и творчества.

Он был современный и передовой ученый. Ведь есть такие скептики, даже из числа людей, которые к нему хорошо относились, которые это отрицают. Смее утверждать, что они ошибаются. Мне кажется, что именно непохожесть Дмитрия Николаевича на канонических ученых XIX века прежде всего показывает, что это был ученый XX века, который был близок к следующему, более молодому поколению и был неразрывно связан со студенчеством, с которым общался до последних дней своей жизни.

Для современных филологических наук, в частности для лингвистики, одним из основных вопросов, без решения которого наука дальше не может развиваться, является проблема нормы, ее становления, ее варьирования, ее изменения в новую норму. Лингвистика XIX века, благоговевшая перед передовыми тогда естественными науками, чуралась этого понятия, так как принято было думать, что все естественное нормально. Современная лингвистика, наоборот, вопрос о норме берет исходным пунктом всякого анализа, будь то фонетика, грамматика или лексикология, здесь необходимо прежде всего почувствовать и найти то, что греки называли "ортос" – в основном значении слова "прямой", в переносном – "правильный". Это и есть задача, без постановки которой ничего нельзя дальше делать. Как раз большинство интересов Дмитрия Николаевича было сосредоточено вокруг именно этой проблемы.

Нужно сказать, что когда Дмитрий Николаевич читал нам в университете курс русского языка, курса современного русского языка не существовало, а была только история русского языка, как полагалось по Герману Паулю. Но Ушаков строит такой курс совершенно по-другому. Он подводил нас к тому, что, слушая историю, мы видели, что все это в конце концов есть становление нормы современного языка. В конце курса он довел ее как норму лексики и фонетики, в меньшей мере, может быть, грамматики. Таким образом, он был пионером того нового знания, которое теперь концентрируется вокруг курса современного русского языка. А тем самым намечается естественный переход к тем двум темам, о которых мне придется говорить, т.к. они вырастают вокруг этого курса. Такой интерес совершенно понятен, так как эти две сестры – орфоэпия и орфография – неразрывно связаны друг с другом. Дмитрий Николаевич всю жизнь занимался этими проблемами и связывал одну с другой.

В своей книге "Русское правописание" он дает подробное положение русского произношения, без чего он не мыслил описать русскую орфографию. И, наоборот, в своей основополагающей статье "Русская орфоэпия и ее задачи" он дает правила чтения русского текста и начинает эту статью с определения орфографии. Таким образом, он мыслил эти две дисциплины как сестер и, может быть, почти как близнецов.

Орфография в работах Д.Н. Ушакова

С первых шагов своей преподавательской деятельности в 90-х годах прошлого века Д.Н. Ушаков по примеру своих учителей отдается орфографическим штудиям. Кто были его учителя в этом отношении? Это прежде всего В.П. Шереметевский, которому посвящена книга Дмитрия Николаевича "Русское правописание". В 1883 году Владимир Петрович Шереметевский открыл своим докладом в обществе распространения технических знаний орфографический поход. В этом докладе он поставил вопрос – можно ли жить с Гротом или нужно какое-то другое русское правописание? В блестящем этюде по поводу руководства Грота, вышедшем в 1897 году, Шереметевский затронул и те большие вопросы, которые волновали потом всю жизнь Дмитрия Николаевича. Другим вдохновителем Ушакова был Федор Евгеньевич Корш, который живо интересовался и орфографическими, и орфоэпическими вопросами. В 1902 г. он написал свою книгу о русском правописании, где много говорится о русском произношении, книгу парадоксальную, остроумную и чрезвычайно вдохновляющую.

Дмитрий Николаевич с 1901 года был активным участником предполагаемой орфографической реформы, подготовлявшейся Московским

педагогическим обществом, проект которой оказался не претворенным в жизнь до сих пор, ибо то, что удалось осуществить в 1917 году, – это только куски, а многое важное не осуществлено. Д.Н. Ушаков явился пропагандистом реформы среди учителя и сторонников ее в том направлении, как это предлагалось Московским педагогическим обществом.

Как известно, в 1903 году Министерство народного просвещения отклоняло попытку учителя осуществить реформу, а в 1904 году Академия наук была склонна поддержать этот вопрос, но японская война события 1905 г. отодвинули все это в долгий ящик.

Новая волна орфографической деятельности Дмитрия Николаевича совпадает с оживлением интереса к орфографическим проблемам в 1910–1911 гг. В это время выходит целый ряд книг, из которых самыми значительными являются: работа Ушакова "Русское правописание", вышедшая в 1911 г., и работа Бодуэна де Куртенэ об отношении русского письма к русскому языку, вышедшая в 1912 г. В 1917 г., накануне реформы, Дмитрий Николаевич выпускает свою работу вторым изданием.

Дальнейшая деятельность ученого в этом направлении падает уже на 20-е годы. Она связана с его работой в качестве руководителя лингвистической секции РАНИОН'а. В эти годы Дмитрий Николаевич делает ряд сообщений и докладов об упорядочении и реформе орфографии, принимает участие в дискуссии 1929 г., а также состоит членом орфографической комиссии Наркомпроса в 1930 году. Все эти этапы остаются нереализованными.

С 1934 года начинается новый и последний период деятельности Дмитрия Николаевича на орфографическом поприще. Я, как сейчас, помню тот милый моему сердцу октябрьский день, когда я пришел на Сивцев Вражек и сказал: "Давайте, Дмитрий Николаевич, попробуем устроить опять орфографическую комиссию". – "Ну что же? – ответил он. – А кто в ней будет работать?". Я ответил: "Вы, я, Аванесов, Шапиро и, кроме того, я Вас познакомлю еще с одним человеком, которого Вы не знаете. Это Сухотин". Работа началась. Сухотин познакомился с Дмитрием Николаевичем, они поговорили, а затем их отношения все больше и больше стали складываться в тесную и нежную дружбу. Эта работа памятна мне потому, что я был ее каждодневным участником. Мы сидели с Дмитрием Николаевичем в его кабинете и рылись в книгах, когда нам нужно было что-нибудь распутать, мы ездили с ним в 1936 г. в Ленинград "бороться" с Академией наук, как это у нас тогда называлось. Потом помирились с ней и вошли в единую комиссию, которая вела дальнейшую работу. Дмитрию Николаевичу не суждено было видеть окончательные результаты этой работы, так как доведенная до конца работа над сводом правил единой орфографии и

пунктуации осталась в виде проекта по целому ряду обстоятельств не орфографического порядка.

Теперь несколько слов о том, как же подходил Дмитрий Николаевич к самой орфографии, как он работал и какие принципы клал в основу своей работы.

Прежде всего кусочек из кабинета: это те ящики (а весь кабинет Дмитрия Николаевича состоял из ящиков), которые содержали орфографический материал. Откуда он накапливался? Дмитрий Николаевич любил полежать с книгой какого-нибудь русского классика, причем, у него обязательно был под рукой клочок бумаги и карандаш, и он попутно записывал те или другие орфографические примеры. Его орфографическая картотека – это богатейший подбор фактов, которые опровергают разные ходячие мнения. Часто говорят, что то или другое является новшеством, а на самом деле этому новшеству лет 70. В одной из своих статей по орфографии я с благодарностью вспоминаю эту картотеку Дмитрия Николаевича, которая чрезвычайно обогатила мой личный опыт.

Что же касается тех принципов, на основании которых Дмитрий Николаевич строит свою орфографическую нормализацию, то они изложены в его книге "Русское правописание" и, несмотря на то, что терминология здесь не является общепринятой, сущность дела всем понятна. Ученый говорит о возможных принципах унификации орфографии таким образом: "Можно себе представить наше правописание реформированным различным образом и каждый раз одинаково с целью единообразия"... Например, "с точки зрения собственно-исторической, путем устранения всего того, что веками вошло в церковнославянское письмо и приготавливало его к русскому языку... Кажется, никто не мечтает о такой реформе. Нечего и говорить, что она не облегчила бы усвоения, несмотря на достигнутое единообразие". Это традиционнo-исторический принцип.

Следующий принцип – по контрасту с предыдущим: "Можно себе представить наше правописание реформированным и применительно к современному произношению, т.е. последовательно примененным фонетическим принципом... Но строго фонетическое письмо – это то, что мы называли фонетической транскрипцией и что по своей сложности может быть совсем непригодно для практики".

Третий принцип, казалось бы, более рациональный – этимологический. Ушаков его разделяет на два принципа. Один он называет так: "Можно представить себе, наконец, наше правописание реформированным с точки зрения научно-этимологической, устранив все то, что противоречит происхождению слов... Такая реформа применительно к отдаленному происхождению русского языка не облегчила бы, а затруднила бы усвоение, поскольку потребовалось бы различать на письме в

большем, чем теперь, числе случаев то, что не различается уже в языке".

Итак, то, что мы теперь называем этимологическим принципом, отвергается Дмитрием Николаевичем. А что же он этому противопоставляет? То, что он называет "Живая этимология". Как понимать, что это значит? "Современное наше правописание при всей его непоследовательности обнаруживает ясно свой главный устой этимологический в смысле живой этимологии. С одной стороны, происхождение нового русского языка, с другой – живая связь в современном сознании указывает реформатору тот устой, который он должен поставить в основу нового правописания" (78). Таким образом, "происхождение нового русского языка" и живая связь в современном сознании этого языка – вот основы орфографии. "Живая этимология в большинстве случаев сходится с действительным происхождением слов, но там, где они расходятся, реформатор отдает предпочтение... живой связи, сознаваемой говорящим".

Если все сказанное перевести на другую терминологию, то получается, что не фонетизм современного языка, не традиции письма и уважение к истории, не этимология, а структурные соотношения в новом современном языке, живая связь структурных явлений – вот что должно быть основой рационального правописания.

Когда Ушаков в своей книге приводит один и тот же небольшой текст, написанный разными способами: строго историческим, строго этимологическим, строго фонетическим, то этот последний проект не совпадает ни с одним из других вариантов. Он много шире и рациональнее. Там нет на конце "ера" (что было введено после революции), но, кроме того, "ер" уничтожается и в середине слов; окончания прилагательных пишутся не *-ый* и *-ий*, а *-ой* и *-ей*. Дмитрий Николаевич указывает, что это так и есть в русском языке, и проверкой ударными окончаниями приводит к убеждению, что в этих случаях должны быть *-ой* и *-ей*. Далее предлагается решить радикально то, что понимал еще Ломоносов, но не рискнул предложить в своей грамматике (а Третьяковский предлагал – это окончания прилагательных в именительном падеже множественного числа: не *-ие*, *-ия*, а *-ии* (срав. *большии* и *мои*).

Я не буду умножать примеры, но хотел бы еще указать на тот общий взгляд, который в одном месте этой книги изложен Дмитрием Николаевичем: "В заключение характеристики проектируемого правописания надо сказать, что являлось с практической стороны более легким для усвоения, с теоретической – оно последовательнее и национальнее ныне существующего" (87). Вот то качество, которое отмечал Дмитрий Николаевич, отстаивая проект правописания, который был разработан Московским педагогическим обществом.

Любовь Д.Н. Ушакова к соотношению языка звучащего и языка

написанного сказывалось во всем. В качестве любопытного образца я хочу привести одну открытку, когда-то написанную Дмитрием Николаевичем. В один прекрасный декабрьский вечер 1939 года я получил от него эту открытку, где было написано следующее: "Дорогому Шерлеву (от фр. *cher* "дорогой", *élève* "ученик". – *Ред.*) фонологическое орфографическое развлечение". Далее следовала фамилия одного диктора радиокомитета, которая произносится "Герцык", и тут Дмитрий Николаевич показывает, что можно дать до 48 написаний этой фамилии при торжественном произношении путем изменения написания безударных гласных.

В заключение он пишет: "Вдумчивый озперанд, но не всякая учительница, оценит эту штуку". Это типичный образец тонкого понимания Дмитрием Николаевичем сущности вопроса в сочетании с легкой шуткой, с мягкой иронией. С его легкой руки мы увлеклись этой игрой. Мы стали писать слова не так, как полагается, а как можно было бы их написать, чтобы читать их таким же образом.(...)

Дмитрий Николаевич всегда сетовал на то, что в широких слоях общества вопросы правописания часто понимаются превратно, трактуются не так, как следует. В предисловии к своей книге "Русское правописание" он пишет следующее: "Правильному отношению к обоим указанным вопросам (правильное произношение и правильное письмо. – *А.Р.*) мешает постоянно встречающийся у нас в образованном обществе недостаток известных теоретических сведений, а именно правильного, т.е. научного, понимания явления языка и отношения их к письму. Это плод обычной постановки преподавания грамматики в нашей средней школе с давних пор. Когда-нибудь, когда уничтожится пропасть между грамматикой школьной и научной, устранится и этот недостаток: общее образование не будет заключать в себе превратных понятий о языке наряду с правильными сведениями в других областях знания; но пока этот недостаток существует, он мешает правильно судить и разбираться в тех вопросах, которые так или иначе связаны с языком".

К сожалению, Дмитрия Николаевича уже нет, а наша средняя школа по-прежнему достойна той оценки, которую он ей дал.

Орфоэпия в работах Д.Н. Ушакова

В области орфоэпии Дмитрий Николаевич не только теоретик, кодификатор, но и живой работник этого фронта, как теперь говорят. Он руководил когда-то кафедрой в Институте слова, воспитал целый ряд преподавателей декламации, устной речи, чтецов-исполнителей, актеров и т.д. Он был организатором особой комиссии живого слова в Государственной Академии художественных наук, постоянным консультантом радиокомитета, другом и сотрудником Всероссийского театраль-

ного общества (...) И кроме того, Дмитрий Николаевич был всегда не только знатоком живого слова, но и ценителем, любителем и мастером живого слова. Недаром он был не только консультантом, но и объектом наблюдений Р. Кошутича. Григорий Осипович уже говорил, что лекции Ушакова – это не лекции какого-то заправского оратора, но это – образец высокого мастерства живого слова. Устная речь Дмитрия Николаевича в простой беседе на любую тему, шутовую или грустную, значительную или пустячную – обсуждались ли какие-нибудь события или это были мелочи – всегда была исполнена удивительного мастерства, показывала удивительную интуицию в отношении произношения. Тут в нем художник сочетался с исследователем-специалистом. Сам Дмитрий Николаевич свою орфоэпическую деятельность разбивал на три периода. В моих руках имеется драгоценный документ – это заключительное его слово на заседании Института языка и письменности Академии наук СССР от 16 февраля 1940 года. В этом заключительном слове Дмитрия Николаевича имеется целый ряд ценнейших мыслей его. Вот что он говорит по поводу периодизации своей орфоэпической деятельности:

"Разрешите мне сказать несколько слов. Я с большим удовлетворением прослушал всех моих друзей, начиная с докладчика. Почему так приятно и близко это мне? Начну с некоторых личных воспоминаний. Мне вспоминаются два моих орфоэпических похода. А то, что сейчас предпринимается, – это уже третий поход. Первый поход был скромный, незаметный. Он был совершен в 1921–1922 гг. при составлении новых программ в Наркомпросе и в Московском отделе народного образования (МОНО). В тех программах впервые было написано слово "орфоэпия". Оно было написано мною, так же как и некоторые рассуждения по этому предмету, опубликованные в изданиях как Наркомпроса, так и МОНО, которых сейчас уже не достанешь. Это был героический период новой грамматики. Какое-то отражение это имело и не только в учебниках, которые мне пришлось редактировать, но и в методиках.

Второй поход был совершен вместе с Государственной Академией художественных наук. В этой Академии мною был возбужден вопрос о желательности созыва всероссийской конференции по вопросам произношения (...) Мы тогда заинтересовали работников театра, покойных Южина, Станиславского (...) и целый ряд режиссеров. Но затем Академия художественных наук была закрыта, и у нас как-то ничего не вышло".

Третий этап был связан с работой сектора славянских языков Института языка и письменности Академии Наук СССР, где значительное внимание было уделено Ушаковым и вопросам орфоэпии. Как относился и как подходил к живому слову Дмитрий Николаевич? Есть у

него небольшая книжка "Русский литературный язык", изданная в 1929 г. Московским университетом, в которой имеется один замечательный абзац, который, во-первых, показывает, как подходил сам Дмитрий Николаевич к живой речи, и, во-вторых, где дается изумительный комментарий к знаменитым "Пушкинским просвирням", о которых так много писалось всякого рода комментариев, но такого комментария, как мы находим у Дмитрия Николаевича, ни у кого не было. Разрешите напомнить этот отрывок. "Учиться языку на флорентинском базаре или, как Крылов, у прачек в Твери – это значит не гнушаться народных оборотов, но это не значит совать их без толку. Всегда в таких случаях должно быть чувство меры и известный такт, так как эти живые элементы могут быть, с одной стороны, чрезвычайно привлекательны, а могут иногда и отталкивать. Здесь правила не выработаешь, и все дело во вкусе, и в такте. Относительно московских просвирен, в частности, Пушкин не хуже Петра Великого проник в сущность дела. Дело, конечно, не в просвирне. Пушкинское замечание указывает на язык пожилой москвички, притом не из аристократического круга, а женщины, тем более пожилые, всегда более или менее консервативны в говоре, следовательно, в отличие от молодежи, застрахованы от излишних новшеств. Вот что значит чистый и правильный язык московских просвирен в пушкинских устах. По этому пути, т.е. постоянного обращения к народному языку, пойдут и дальнейшие писатели".

Как тонки были орфоэпические наблюдения Дмитрия Николаевича, показывает один его шедевр. Это его статья в сборнике в честь А.И. Соболевского «О звуке "г" фрикативном в русском литературном языке в настоящее время». Всего две с четвертью странички, но они исчерпывают весь вопрос, больше ничего не нужно. А этот вопрос, хотя и маленький, специальный, но с практической стороны чрезвычайно существенный, особенно для работников сцены и ревнителей правильности языка. Изложен он здесь изумительно, с ювелирной четкостью.

Что здесь нас пленяет? Это прежде всего регистрация и классификация тех фактов, где встречается "г" фрикативное. Ушаков отмечает пять случаев: "Это 1) *где*, окончание – *гда* в *когда*, *тогда* и т.д.... 2) ...варианты произношений: *легок*, *мягок*, *коготь*, *ноготь*... 3) случаи появления... взамен *х* перед звонкими: *их дом*, 4) слово *бухгалтер*... наконец, церковно-книжные слова. Свои наблюдения над этими последними я и хочу здесь сообщить" (238). Дальше Дмитрий Николаевич дает градацию убывания этого звука в разных слоях церковно-книжной лексики и показывает, как в живом языке меняется эта фонетическая черта. Дмитрий Николаевич указывает, что в числе произносящих *бога* большинство произносят, однако, *бога* Аполлона и с *г* взрывным. Это

странное на первый взгляд различие в произношении христианского бога и бога языческого опять показательно для суждения о факторах, способствовавших сохранению традиций" (239).

"Наконец, еще одна изумительная тонкость: им. ед. *бох*, произносимое с *х* даже теми, кто говорит *бога*, можно было бы считать единственным, если б мне при моих опросах не встретились два-три лица, произносивших *бок*: это были юные представители аристократических семей, росшие с гувернерами-иностранцами" (240).

Наблюдение чрезвычайной тонкости, исключительно изящное, которое показывает социальную принадлежность известной орфоэпической черты. Таково ювелирное мастерство Дмитрия Николаевича.

Другой случай в его орфоэпической практике – это его полемика с С.И. Бернштейном по поводу одного вопроса русского вокализма. Я позволю себе процитировать одно место из ненапечатанной статьи Ушакова "К вопросу о правильном произношении". А история вопроса такова. Когда в 1935 году они в печати поставили вопрос об орфоэпии, появился целый ряд статей, и в том числе статья С.И. Бернштейна в журнале "Говорит СССР" (1936. № 1). В этой статье С.И. Бернштейн блеснул большой эрудицией, но целый ряд мест статьи вызвал справедливое недоумение многих, и в том числе Дмитрия Николаевича. И вот как отвечает Ушаков в этой ненапечатанной своей статье (она не была напечатана, так как журнал этот к тому времени уже закрылся). Это место интересно в том отношении, как Дмитрий Николаевич оценивал безударный вокализм русского языка, московское "аканье":

«Несомненным признается, кажется всеми, сохранение аканья. Но надо дать себе отчет в понимании этого термина. О московском аканье приходится слышать да и читать противоречивые вещи. Одним оно кажется каким-то широчайшим, так сказать, безударным распространением звука *а* во всех неударяемых слогах. Это неверно. Другие, наоборот, знают, что московское аканье представляет собой стройную, закономерную систему (как и другие типы аканья, не московские, представляющие иные, свои системы); они знают, что московское принадлежит к типу так называемого в диалектологии "умеренного" аканья, т.е. что в нем не всякое *о* или *а* без ударения звучат как *а*, что в известных слогах в слове они звучат как неясный звук, который различно определяется и различно называется в ученых трудах, но который для широкой публики позволительно определить как *а* с оттенком *ы*. Он может, и не без основания, пониматься говорящими как известная разновидность *а*, но это не такое *а*, как *а* под ударением, например, в слове *сад*, или без ударения в слове *сады*. Дело идет о том звуке, который слышится в первом слове слова *садовод* – он не тот, что

в *сад* или *сады*. Тот же звук и в первом слоге слова *водовоз* на месте буквы *о*. Нечто аналогичное можно сказать и о произношении букв *я* и *е*. Дальнейшие подробности и уточнения опускаю. Таким образом, оказывается, что при провозглашении аканья как одной из главнейших основ будущего орфоэпического кодекса нужно быть осторожным, нужно дать себе ясный отчет, что под этим названием устанавливаем.

В самом деле, С.И. Бернштейн приводит в качестве примеров московского аканья такие: "какая счастья", "чистая поля", "троя", справедливо указывая, что так "никто из мастеров нашего театра уже не говорит". Мне хотелось бы думать, что специалист по фонетике С.И. Бернштейн, не только теоретически прекрасно изучивший московское произношение, но и могущий говорить чистейшим московским языком, только ради простоты изложения не снабдил свои примеры нужными оговорками, которые давали бы знать, в каком условном значении он употребляет здесь букву *я*. Без оговорок получается искажение действительности. Скажу, что "никто из мастеров нашего театра" не только теперь уже не говорит этих слов с настоящим чистым *я* (т.е. таким, как, например, в слове *ягода*), но и никогда не говорили, скажем, в роли Чацкого или Гамлета. И прежде, конечно, такое *я* в этих словах могло слышаться только в "характерных ролях", т.е. для передачи именно не-московского, не-литературного произношения. Неточность, допущенная С.И. Бернштейном в его статье, к сожалению, дает широкому читателю основание думать, что и впрямь старые москвичи так говорили, дает им основание считать московский говор каким-то, как я выразился выше, необузданным аканьем... А как же, по С.И. Бернштейну, стали теперь эти слова говорить? Оказывается, по его словам, теперь говорят "как пишут": *какое счастье*, *трое* и т.д. Хочет ли этим он сказать, что произносят настоящее, чистое, полное *е* (как, например, в слове *ехать*)? Хочется думать, что и здесь привело к неточности нежелание затруднять читателя тонкостями. Но недоразумение не устраняется, а, наоборот, усиливается. Я тоже не хочу утруждать читателя фонетическими тонкостями, а потому скажу кратко: *я* произносили, и произносим во всех указанных случаях одинаковый звук, но не *я* и не *е*; поэтому напишите мне, старому коренному москвичу, *троя* (возьмите, например, город *Троя*) или *трое*, *море* или *моря*, я прочту с одним и тем же неясным звуком (которого для простоты определять здесь не буду). *Троя* с ясным *я* для меня областное: например, рязанское *трое* с ясным *е* тоже областное, но из других мест, из севернорусских. Итак, приведенные С.И. Бернштейном примеры совершенно не характеризуют московского произношения и способны дать ложное представление о московском аканье».

Я позволил себе привести эту длинную выдержку, потому что эта

статья Дмитрия Николаевича никому не известна и очень характерна для него.

Здесь столкнулись два ученых: один тип, характерный для XIX века, эрудит, погруженный в книжные фолианты, другой – художник, мастер, интуит. И вот как интуит отвечает книжному ученому. Мои симпатии на стороне живого человека, тем более, что фактически он здесь безусловно прав.

Остается сказать о кодификации вопросов русского произношения. Этому вопросу Дмитрий Николаевич, если не считать "Русского правописания", посвятил две статьи, одна из них – это "Русская орфоэпия и ее задачи" (1929 г.), вторая – это § 23 во введении к "Толковому Словарю русского языка" (1 том, 1934–35 г.). Причем эти две кодификации несколько расходятся. Не буду утруждать вас деталями, скажу только, что в 1934–35 гг. Ушаков дает сильно сокращенный объем правил произношения по сравнению с объемом 1929 г., допускает некоторые отступления и вводит некоторые очень ценные добавления. Так, например, он дает здесь изумительно правильное освещение вопросов о произношении безударных гласных и унификации безударных флексий. С удивительной четкостью он говорит о сравнительной степени "черное, белое", что тут *e* произносится, как *я*, но в "дешевле" мы уже имеем звук, близкий к *и*.

Все эти детали еще раз подтверждают, что в полемике с Бернштейном Ушаков Дмитрий Николаевич стоит на точке зрения фонолога, и чрезвычайно странно, что фонолог Бернштейн мог оказаться его мишенью! Ведь спор шел о букве "е", которая в приведенных примерах (*Черное море, трое*) изображает фонему "о" и должна произноситься так, как вообще произносится всякое безударное "о".

Дмитрий Николаевич так сам никогда не формулировал. Это мы, его ученики, так формулируем. Но интуитивным чутьем он это понимал и дал нам весь материал в руки для того, чтобы показать, что "е" в русском современном языке в значительном числе случаев погребло, и под маской "е" выступает "о".

Не буду приводить других деталей. Остановлюсь только на основных вопросах. Действительно ли Дмитрий Николаевич был защитником только старого московского произношения и признавал только его? Предоставим тут слово самому Дмитрию Николаевичу (ненапечатанная статья "К вопросу о правильном произношении"):

«В заключение мне хочется сказать несколько слов, как говорится, *pro domo mea*(...) Мне неоднократно ставили в упрек, что я, описывая московское произношение, так сказать, выдаю его за единственно правильное, в то время как в нем давно уже есть известные сдвиги, которые не должны считаться неправильностями. На это я должен сказать, что "сдвиги" я признаю, делаю о том в первой из названных

выше статей, в сноске, специальную оговорку, а во второй (предисловие к словарю) данные о некоторых сдвигах ввожу даже в самое изложение московских черт, но узаконять что-либо я не считаю себя вправе. Я описываю московское произношение, которое считается, пусть ошибочно, правильным, которого никакие конференции еще не отменяли и от которого при установлении стандарта все будут отправляться. В своих описаниях, кроме основных черт, я указываю даже несколько таких мелочей, которые могут казаться захолустными провинциализмами, вроде *посодим*, *уплочено* вместо *посадим*, *уплачено*. И указываю их, разумеется, вовсе не для рекомендации в качестве общерусских».

Дмитрий Николаевич прекрасно понимал московское произношение как московское, и московское как общерусское, видел старое и новое и умел это показать.

Что завещал Ушаков нам, ученикам, в области орфоэпии? Стенограмма, находящаяся в моих руках, дает ответ и на этот вопрос. Вот что говорит Дмитрий Николаевич в своем заключительном слове:

«Несколько лет назад, в этой самой комнате (тогда здесь был РАНИОН) я читал доклад под названием "Фонетика русского литературного языка в нормативном освещении". Как видите, тема такая же (во всяком случае, с таким же уклоном), и выводы клонились к тому, что нужно что-то изучать, что-то наблюдать, что-то установить. Сегодня... очень интересный доклад... И, сравнивая то время, когда я выступил с докладом, сравнивая свой доклад и сегодняшний доклад, я скажу, что суть в смысле вопросов и материалов осталась та же, а разработка вопроса стала куда тоньше. Это наблюдение очень отрадное: наука-то как идет вперед!»

Я привожу это место для того, чтобы показать исключительную скромность Дмитрия Николаевича в оценке самого себя, исключительную чуткость ко всему новому, что происходило вокруг него. Он нам делал целые заповеди в том отношении, что делать, как продолжать работу, и наш первый долг заключается в том, чтобы продолжить работу над всеми поставленными им вопросами в области орфографии и орфоэпии, продолжить его традиции и соединить это с тем опытом уточнения работы, которое он отмечал.

В заключение несколько слов. Я вспоминаю Сивцев Вражек, когда там был Дмитрий Николаевич. Это была подлинная Мекка не только для филологов, для всех, кому мог быть полезен Дмитрий Николаевич. А кому бы не мог он быть полезен? Он был полезен всем, и все время приходили к нему люди с самыми различными вопросами и интересами. Одни сидели сутками, другие приходили на 10–20 минут и уходили. Это был сплошной поток, сплошное паломничество. И несмотря на такую разорванность жизни, несмотря на то, что Дмитрий Николаевич разме-

нивался в быту на мелочи, как ни странно, но он создал единую лингвистическую школу. Григорий Осипович говорил, что в этой школе были весьма различные воззрения и разные оттенки, но если понимать эту школу несколько поуже и брать его прямых учеников, то единство школы делается очевиднее, и чем дальше мы живем и работаем, тем больше мы чувствуем себя членами этой школы, которую создал наш общий учитель – Дмитрий Николаевич.

И это название "ушаковские мальчики", которое придумал какой-то наш недоброжелатель, мы носим с большой гордостью. Да, мы "ушаковские мальчики", пусть мы лысые, седые, пусть мы сами на тот свет уже помаленьку начинаем уходить, но мы будем до конца дней считать себя "ушаковскими мальчиками" и будем гордиться этим трогательным названием.

23 июля 1942 г.

"Широкая" русская душа

А.Д. ШМЕЛЕВ,

доктор филологических наук

Смысл разговоров о "широте русской души" можно связать с различными особенностями русского национального характера и восприятия мира, находящими отражение в русском языке.

Во-первых, "широта" – это тяга к крайностям, к экстремальным проявлениям какого бы то ни было качества. Все или ничего, отсутствие ограничителей или сдерживающих тенденций – часто признается одной из самых характерных черт, традиционно приписываемых русским. Так, в одной статье, посвященной отражению в языке разного рода стереотипов, отмечается, что именно "центробежность", отталкивание от середины, связь с идеей чрезмерности или безудержности и есть то единственное, что объединяет *щедрость* и *расхлябанность*, *хлебосолье* и *удаль*, *свинство* и *задушевность* – обозначения качеств, которые (в отличие, например, от слова *аккуратность*) в языке легко сочетаются с эпитетом *русский* (см.: Плунгян В.В., Рахилина Е.В. "С чисто русской аккуратностью..." (к вопросу об отражении в языке некоторых стереотипов) // *Московский лингвистический журнал*. 1995. № 2. С. 340–351). "Широк человек, я бы сузил", – говорил один из героев Достоевского как раз по поводу соединения в "русском характере", казалось бы, несоединимых качеств. При этом каждое из качеств доходит до своего логического предела, как в стихотворении Алексея Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так горяча,
Коль рубнуть, так уж плеча!

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

С другой стороны, *широта* – это само по себе название некоторого качества, родственного хлебосольству, щедрости и также приписываемого русскому национальному характеру. *Широкий* человек – это человек, любящий *широкие* жесты, может быть, даже живущий на *широкую* ногу. Сюда же относятся такие явления, как *разгул*, *размах* и

т.п. Иногда мы слышим: *Дай простор душе!* – специфически русское выражение, которое трудно перевести на другие языки.

Именно в этом смысле употребляют выражение *человек широкой души*. Это щедрый и великодушный человек, не склонный "мелочиться", готовый простить другим людям их мелкие проступки и прегрешения, не стремящийся "заработать", оказывая услугу. Его щедрость и хлебосолие иногда могут даже переходить в нерасчетливость и расточительность. Словом, "коли пир – так пир горой!". Менее характерно понимание словосочетания *человек широкой души* как относящегося к человеку, которому свойственна терпимость, понимание возможности различных точек зрения на одно и то же явление, в том числе и не совпадающих с его собственной. Чаще в таком случае используют сочетание *человек широких взглядов*.

Впрочем, здесь есть и некоторое различие. *Человек широких взглядов* – это человек прогрессивных воззрений, терпимый, готовый переносить инакомыслие, склонный к плюрализму, иногда, возможно, граничащему с беспринципностью. *Человек широкой души* (в указанном понимании) – это человек, способный понять душу другого человека, а поняв, полюбить его таким, каков он есть, пусть не соглашаясь с ним. Но повторим, что данное понимание сочетания *человек широкой души* встречается относительно редко, чаще оно говорит о щедрости, великодушии и размахе.

Наконец, о "*широте* русской души" можно говорить в связи с вопросом о возможном влиянии "широких русских пространств" на русский национальный характер. Роль "русских пространств" в формировании "русского видения мира" отмечали многие авторы. Известно высказывание Чаадаева: "Мы лишь геологический продукт обширных пространств". У Н.А. Бердяева есть эссе, которое так и озаглавлено – "О власти пространств над русской душой". "Широк русский человек, пирок как русская земля, как русские поля", – пишет Бердяев и продолжает: – "В русском человеке нет узости европейского человека, концентрирующего свою энергию на небольшом пространстве души, нет этой расчетливости, экономии пространства и времени, интенсивности культуры. Власть шири над русской душой порождает целый ряд русских качеств и русских недостатков". О "власти пространств над русской душой" говорили и многие другие, например: "В Европе есть только одна страна, где можно понять по-настоящему, что такое пространство, – это Россия" (Гайто Газданов). "Первый факт русской истории – это русская равнина и ее безудержный разлив (...) отсюда неперевоодимость самого слова простор, окрашенного чувством, мало понятным иностранцу...", – писал Владимир Вейдле, известный русский литературный критик и искусствовед. Целый ряд высказываний такого рода

собран в хрестоматии Д.Н. и А.Н. Замятинных "Хрестоматия по географии России. Образ страны: пространства России" (М., 1994).

Все названные факторы сплелись воедино и определяют причудливую "географию русской души" (выражение Н.А. Бердяева). И не удивительно, что эта "широта русской души" отражается в русском языке, в первую очередь, в особенностях его лексического состава.

Многие из слов, ярко отражающих специфику "русской ментальности" и соответствующих уникальным русским понятиям, – такие, как *тоска* или *удаль*, – как бы несут на себе печать "русских пространств". Недаром переход от "сердечной тоски" к "разгулью удалому" – постоянная тема русского фольклора и русской литературы, и не случайно во всем этом "что-то слышится родное". Часто, желая *сплеснуть тоску с души*, человек как бы думает: "Пропади все пропадом", – и это воспринимается как специфически "русское" поведение: "Истинно по-русски пренебрег Павел Николаевич и недавними страхами, и запретами, и зарокнами, и только хотелось ему тоску с души сплеснуть да чувствовать теплоту" (Солженицын. Раковый корпус).

Склонность русских к тоске и удалу неоднократно отмечалась иностранными наблюдателями и стала общим местом, хотя сами эти слова едва ли можно адекватно перевести на какой-либо иностранный язык. Характерно замечание, сделанное в статье "Что русскому здорово, то немцу – смерть" (Иностранец. 1996. № 17): "По отношению к русским все европейцы сконструировали достаточно двойственную мифологию, состоящую, с одной стороны, из историй о русских князьях, борзых, икре-водке, русской рулетке, *неизмеримо широкой русской душе, меланхолии и безудержной отваге* (выделено мною. – А.Ш.); с другой же – из ГУЛАГа, жуткого мороза, лени, полной безответственности, рабства и воровства". Выражение *меланхолия и безудержная отвага*, конечно, же, заменяет знакомые нам *тоску* и *удаль*; автор сознательно "остраняет" эти понятия, передавая тем самым их чуждость иностранцам и непереводаемость на иностранные языки.

На непереводаемость русского слова *тоска* и национальную специфичность обозначаемого им душевного состояния обращали внимание многие иностранцы, изучавшие русский язык (и в их числе великий австрийский поэт Р.М. Рильке). Трудно даже объяснить человеку, незнакомому с тоскою, что это такое. Словарные определения ("тяжелое, гнетущее чувство, душевная тревога", "гнетущая, томительная скука", "скука, уныние", "душевная тревога, соединенная с грустью; уныние") описывают душевные состояния, родственные тоске, но не тождественные ей. Пожалуй, лучше всего для понимания тоски подходят развернутые описания: *тоска* – это то, что испытывает человек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и знает только,

что это недостижимо. А когда объект тоски может быть установлен, это обычно что-то утерянное и сохранившееся лишь в смутных воспоминаниях: ср. *тоска по родине, тоска по ушедшим годам молодости*. В каком-то смысле всякая тоска могла бы быть метафорически представлена как тоска по небесному отечеству, по утерянному раю. Но, по-видимому, чувству тоски способствуют бескрайние русские пространства; именно при мысли об этих пространствах часто возникает тоска, и это нашло отражение в русской поэзии ("тоска бесконечных равнин" у Есенина или в стихотворении Леонарда Максимова: "Что мне делать, насквозь горожанину, с этой тоской пространства?").

На связь тоски с "русскими просторами" указывали многие авторы. "Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня?" – спрашивал Гоголь, обращаясь к Руси из своего "прекрасного далека", именно эта "тоскливая" и одновременно "несущаяся по всей длине и ширине" песня была для него как бы символом России. Нередко чувство тоски обостряется во время длительного путешествия по необозримым просторам России (ср. понятие "дорожной тоски"); как сказано в уже цитированном стихотворении Максимова, "каждый поезд дальнего следования будит тоску просторов".

Другое характерное русское слово – *удаль*. Оно называет качество, чем-то родственное таким свойствам, как смелость, храбрость, мужество, доблесть, отвага, но все же совсем иное. Это хорошо почувствовал Фазиль Искандер, который писал: «Удаль. В этом слове ясно слышится – даль. Удаль это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства, дали.

В слове "мужество" – суровая необходимость, взвешенность наших действий, точнее, даже противодействий. Мужество от ума, от мужинства. Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость, мужество. Мужество ограничено целью, цель продиктована совестью.

Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизнью, храбрость.

Но, взглядевшись в понятие "удаль", мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В ней есть самонакачка, опьянение. Если бы устраивались соревнования по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла бы, хватив допинга.

Удаль требует пространства, воздух пространства накачивает искусственной смелостью, пьянит. Опьяненной жизнью – копейка. Удаль – это паника, бегущая вперед. Удаль рубит налево и направо. Удаль – возможность рубить, все время удаляясь от места, где лежат порубленные тобой, чтобы не задумываться: а правильно ли я рубил?

А все-таки красивое слово: удаль! Утоляет тоску по безмыслию».

Действительно, человека, который не проявил достаточной удали, мы не назовем *трусом* – скорее, скажем, что это *расчетливый человек*. Человек, который смело смотрит в лицо опасности или мужественно переносит страдания, не проявляет этим никакой удали. Говоря о солдатах, которые доблестно или отважно встретили смерть, вступив в бой с превосходящими силами противника, употребить слово *удаль* тоже будет неуместно. Вообще это слово не употребляется, когда речь идет об исполнении долга. Оно оказывается уместным, когда говорят о ком-то, кто действует вопреки всякому расчету, "очертя голову", и тем самым совершает поступки, которые были бы не по плечу другому. *Удаль* всегда предполагает удачу – здесь проявляется связь с глаголом *удаться*, к которому восходят оба этих существительных.

Пытаясь объяснить или понять, что такое *удаль*, мы неизбежно сталкиваемся с некоторым парадоксом. Все попытки рационального объяснения *удали* заставляют признать, что в ней нет ничего особенно хорошего; во всяком случае, она не является таким превосходным качеством, как *мужество*, *смелость*, *храбрость*, *отвага*, *доблесть*. Именно это демонстрирует и приведенное выше рассуждение Ф. Искандера. В то же время слово *удаль* в русском языке обладает яркой положительной окраской. Типичное сочетание с этим словом – *удаль молодецкая*. Конечно, П. Вайль и А. Генис иронизируют, когда пишут об "идеальной гоголевской Руси" как о "грядущем царстве правды, добра и удали", но сама возможность появления *удали* в этом ряду показательна.

По-видимому, существенный смысловой компонент слова *удаль* соответствует идее любования (впрочем, иногда речь, скорее, может идти о самолюбовании того, чьи поступки отличаются *удалью*). Говоря об *удали*, мы любимся тем, какие удалые действия может совершить человек, и уже это сообщает слову положительную окраску. Кроме того, для *удали* важна идея бескорыстия, *удаль* противостоит узкому корыстному расчету. Попробуйте объяснить, зачем надо проявлять *удаль*. Да так, просто ради самой удали. Как курьер из детского рассказа С. Алексеева "Сторонись!", который любил лихую езду. Как-то, мчась на санях, он сшиб в снег самого Суворова, а через три дня, вручая Суворову бумаги из Петербурга, получил от него в награду перстень:

– За что, ваше сиятельство?! – поразился курьер.

– За удаль!

Стоит офицер, ничего понять не может, а Суворов опять:

– Бери, бери. Получай! За удаль. За русскую душу. За молодецтво.

Пожалуй, самое типичное проявление удали – это и есть быстрая

езда, которую, как известно, любит всякий русский. Образ мчащейся и "необгонимой" "птицы-тройки", косясь на которую, "постораниваются и дают ей дорогу" другие народы и государства, дает хорошее представление о том, что такое *удаль* и каково ее ассоциативное поле в русском языке. По-видимому, само слово (и понятие) *удаль* могло родиться только у бойкого народа, и при этом у народа, привыкшего к широким пространствам.

Свойственное русскому языку представление о взаимоотношениях человека и общества, о месте человека в мире в целом и, в частности, в социальной сфере нашло отражение в синонимической паре *свобода – воля*. Эти слова часто воспринимаются как близкие синонимы. На самом деле, между ними имеются глубокие концептуальные различия. Если *свобода* в общем соответствует по смыслу своим западноевропейским аналогам, то в слове *воля* выражено специфически русское понятие. С исторической точки зрения, *волю* следовало бы сопоставлять не с его синонимом *свобода*, а со словом *мир*.

В современном русском языке слово *мир* соответствует целому ряду значений ("отсутствие войны", "вселенная", "сельская община" и т.д.). Однако все указанное многообразие значений исторически можно рассматривать как модификацию некоего исходного значения, которое мы могли бы истолковать как "гармония; обустройство; порядок". Вселенная может рассматриваться как "миропорядок", противопоставленный хаосу (отсюда же греческое *космос*). Отсутствие войны также связано с гармонией во взаимоотношениях между народами. Образцом гармонии и порядка, как они представлены в русском языке, или "лада", если пользоваться словом, ставшим популярным после публикации известной книги Василия Белова, могла считаться сельская община, которая так и называлась – *мир*. Общинная жизнь строго регламентирована ("налажена"), и любое отклонение от принятого распорядка воспринимается болезненно, как "непорядок". Покинуть этот регламентированный распорядок и значит "вырваться на волю".

Воля издавна ассоциировалась с бескрайними степными просторами, "где гуляем лишь ветер... да я". На связь понятия *воли* с "русскими просторами" указывает Д.С. Лихачев: "Широкое пространство всегда владело сердцем русским. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная – это свобода, соединенная с простором, ничем не огражденным пространством" (Заметки о русском). Прочитываем также Г.Д. Гачева, который писал в работе "Национальные образы мира": «Широкая душа, русский размах – это все идеи из стихии воздуха-ветра... Человек стремится "Туда, где гуляют лишь ветер да я", – не случайно это братское спаривание. Недаром, и для ветра, и для русского человека одно действие присуще и любимо: "гулять на воле" –

разгуляться, загулять, загул, отгул, разгул. И недаром Гоголь, о душе русского человека говоря: "Его ли душе, стремящейся закружиться, разгуляться" – упоминает действия, которые в равной мере делаются и ветром».

В отличие от *воли*, *свобода* предполагает как раз порядок, но порядок, не столь жестко регламентированный. Если *мир* воспринимается как жесткая упорядоченность сельской общинной жизни, то *свобода* ассоциируется, скорее, с жизнью в городе. Недаром название городского поселения *слобода* этимологически тождественно слову *свобода*. Если сопоставление *свободы* и *мира* предполагает акцент на том, что свобода означает отсутствие жесткой регламентации, то при сопоставлении *свободы* и *воли* мы делаем акцент на том, что *свобода* связана с нормой, законностью, правопорядком ("Что есть свобода гражданская? Совершенная подчиненность одному закону, или совершенная возможность делать все, чего не запрещает закон", – писал В.А. Жуковский). *Свобода* означает мое право делать то, что мне представляется желательным, но это мое право ограничивается правами других людей; а *воля* вообще никак не связана с понятием права.

Характерны в этой связи замечания Д. Орешкина, который писал в статье "География духа и пространство России", опубликованной в журнале "Континент": «В свое время спичрайтеры подвели президента Рейгана, который, развенчивая "империю зла", между делом обмолвился, что в скудном русском языке нет даже слова "свобода". На самом деле есть, и даже два: *свобода* и *воля*. Но между ними лежит все та же призрачная грань, которую способно уловить только русское ухо. Свобода (слобода) – от самоуправляемых ремесленных поселений в пригородах, где не было крепостной зависимости. Свобода означает свод цеховых правил и признание того, что твой сосед имеет не меньше прав, чем ты. "Моя свобода размахивать руками кончается в пяти сантиметрах от вашего носа", – сформулировал один из западных парламентариев. Очень европейский взгляд. Русская "слобода" допускает несколько более вольное обращение с чужим носом. Но все равно главное в том, что десять или сто персональных свобод вполне уживались в ограниченном пространстве ремесленной улочки. "Свобода" – слово городское.

Иное дело *воля*. Она знать не желает границ. Грудь в крестах или голова в кустах; две вольные воли, сойдясь в степи, бьются, пока одна не одолеет. Тоже очень по-русски. Не говорите воле о чужих правах – она не поймет. Божья воля, царская воля, казацкая воля... Подставьте "казацкая свобода" – получится чепуха. Слово степное, западному менталитету глубоко чуждое. Может, это и имели в виду составители речей американского президента».

Сходным образом и В. Вейдле, когда писал о "русском, столь

отличном от западного понимания свободы, не как права строить свое и утверждать себя, а как права уйти, ничего не утверждая и ничего не строя", имел в виду, конечно, именно волку.

Упомянем еще рассуждение П. Вайля и А. Гениса на ту же тему: «Радищев требовал для народа свободы и равенства. Но сам народ мечтал о другом. В пугачевских манифестах самозванец жалуется своих подданных "землями, водами, лесом, жительством, травами, реками, рыбами, хлебом, законами, пашнями, телами, денежным жалованьем, свинцом и порохом, как вы желали. И пребывайте, как степные звери".

Радищев пишет о свободе – Пугачев о воле. Один хочет облагодетельствовать народ конституцией – другой землями и водами. Первый предлагает стать гражданами, второй – степными зверями. Не удивительно, что у Пугачева сторонников оказалось значительно больше».

Таким образом, специфика противопоставления *мира* и *воли* в русском языковом сознании особенно наглядно видна на фоне понятия *свободы*, в целом вполне соответствующего общеевропейским представлениям. В каком-то смысле это противопоставление отражает пресловутые "крайности" "русской души" ("все или ничего", или полная регламентированность, или беспредельная анархия) – иными словами, "широту русской души".



Воистину и поистине

С.И. БУГЛАК,

кандидат филологических наук

Слова, близкие по звучанию, написанию и значению, подчас различаются лишь оттенками смысла и употреблением. Таковы *поистине* и *воистину*, образованные от одного слова – *истина*. Некоторые лингвисты, в том числе Е.С. Яковлева, считают их полными синонимами (словами с абсолютно одинаковым значением) в следующем примере: "Спектакль имел успех поистине (=воистину) оглушительный" (Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира и его восприятие. М.: Гнозис, 1994. С. 279). Однако живой язык крайне редко допускает существование слов с тождественным значением, так как одно из них становится лишним. Между тем рассматриваемые слова сосуществуют несколько столетий и сохранились в современной русской речи. Впервые они фиксируются в русском языке уже в XI–XIII вв. (Черепанова О.А. Формирование лексико-семантического класса модальных слов в русском языке XI–XIII вв. // Вестник ЛГУ. Сер. филол. наук. 1964. 14. Вып. 3. С. 127–138). Эти слова употреблялись в значениях подтверждения и усиленного утверждения: "По истине его женс

может веко виде и не оухо слышати" (Житие Нифонта); "Она же возвратистася въ Иерусалимъ и поведаста Апостоломъ вся сия яко въ истину възкресе Христосъ" (Кир. Туровский. Слово на Пасху).

В значениях подтверждения и усиленного утверждения, наряду с *поистине* и *воистину*, употреблялись *впрямь*, *истинно*, *конечно*, *неложно*, *подлинно*, *существенно* – в XVI–XVII вв., а *взаправду*, *верно*, *действительно*, *подлинно*, *вподлинну*, *заподлинно*, *заправду* – в XVII–XVIII вв. (Черепанова О.А. Указ. соч. С. 138). Некоторые из них почти вышли из употребления: *подлинно*, *истинно*, *заподлинно*. Слова же *действительно*, *в самом деле*, наиболее часто употребляемые в современной речи в значениях подтверждения и усиленного утверждения, появляются лишь в XIX веке, однако они не полностью вытеснили *поистине* и *воистину*.

Каковы же значения и оттенки значений этих слов? В толковых словарях русского языка при определении значений и функций анализируемых наречий обычно приводятся синонимы *действительно*, *в самом деле*, *подлинно*, *истинно*. Так, при толковании слова *воистину* в новом издании Академического словаря русского языка отмечается, что "воистину" – нареч., действительно, подлинно, в самом деле. Обычно в торжественной речи" (Словарь русского литературного языка. Изд. 2-е. Т. 2. М.: Русский язык. 1991. С. 408).

Справедливо замечание словаря об употреблении *воистину* в торжественной речи, так как по происхождению это слово – старославянское (см.: Филкова Н. Старославянизмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка. Т. 2. София, 1986. С. 257: *воистину* (воистинне, воистинно) – совр. нет. Действительно. вправду. Стих XII в. 11 об.), в отличие от *поистине*, которое является исконно русским словом (ср.: *по правде*, *по совести*). Старославянизмы, как известно, согласно теории стилей М.В. Ломоносова, использовались в высоком стиле торжественной речи, поэтому *воистину* обычно употребляется в текстах религиозного содержания и в языке поэзии (см.: Кожина М.А. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1977. С. 114). Например: "Сотник же и те, кто с ними стерегли Иисуса, видя землетрясение, и всё бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину, он был сын божий" (Ев. от Матфея. Гл. 27. Стих 54); "О, Данте! Воистину ты долго жил в аду!" (Брюсов. Данте); "Век девятнадцатый железный, воистину жестокий век!" (Блок. Возмездие).

В известном выражении, произносимом на Пасху, "Христос воскрес, воистину воскрес!" *воистину* относится к глаголу *воскрес* и выступает в значении "на самом деле, в действительности", чтобы утвердить достоверность сообщаемого и заверить слушающего в истинности, правдивости высказывания. Слово *поистине* не употребляется в данном значении и не относится к сказуемому.

Для создания определенного экспрессивного эффекта *воистину* может использоваться не только в торжественной, но и в публицистической речи. Причем в начале предложения оно является вводным и на письме отделяется запятой или даже двоеточием: "Воистину, она ничем не скована, как пуля в ней бьется мудрость, доброта" (Ивнев. Природа); "Это уже становится своего рода традицией на Украине. Как только глава государства отправляется в дальние поездки, резко возрастают цены. Воистину: пока кошка гуляет, мыши водят хоровод" (Час пик. 1994). В последнем примере конкретные факты подтверждают общеизвестную истину.

Следует отметить, что функция подтверждения достоверности высказывания, справедливости и правильности оценки предыдущего контекста более присуща слову *воистину*, чем *поистине*.

Воистину в середине предложения редко встречается как средство усиления оценки, однако все же имеются примеры, в которых оно выступает в этом значении: "Октябрь свел ее с человеком, чья звезда со скоростью воистину космической устремилась от зенита к закату" (А. Эфрон); "Я живу в Париже уже три года, и должен сказать, что это воистину необыкновенный город" (Из кинофильма); "Но воистину героическим выглядел подвиг инвалида второй группы" (Час пик. 1994); "Писался дневник очень трудно, иной раз было воистину физическое мучение" (А. Бек); "Лидия живет среди людей воистину странных" (М. Горький).

В данных примерах уместнее было бы употребление *поистине*, вместо *воистину*, так как для *поистине* функция оценки в середине предложения является основной. Однако использование *воистину* в этих примерах, очевидно, можно объяснить стремлением авторов усилить и выделить утверждаемое, так как *воистину* сильнее, чем *поистине* подчеркивает достоверность оценки, означает более высокую степень ее интенсивности.

Не вполне уместно в стилистическом отношении выглядит употребление *поистине* вместо *воистину* в контекстах цитат из Библии: "Таким образом, в процессе семантической деятельности устанавливаются отношения между участниками коммуникации. Поистине (лучше – воистину), вначале было слово" (В. Успенский); "А между тем совершенно напрасно, поистине (лучше – воистину), как глас вопиющего в пустыне из вселенной шли непрерывно радиосигналы паритет-космонавтов" (Ч. Айтматов).

Впрочем, возможно, употребление *поистине* в данных примерах объясняется тем, что они приводятся в контекстах научной и художественной речи.

Поистине в современной русской речи является более употребительным словом, чем *воистину*. Оно встречается в различных стилях речи:

художественном, публицистическом, разговорном, между тем как *воистину* привязано к контекстам употребления цитат из Библии. Оно используется преимущественно в книжной речи.

Поистине обычно употребляется в середине предложения перед прилагательным или причастием, выступающим в роли сказуемого, подчеркивая достоверность и справедливость оценки, выражаемой прилагательным или причастием, к которому оно относится: "Школа теперь переживает поистине нелегкие времена" (из телепередачи); "Тема Востока в русской музыке поистине неисчерпаема" (из радиопередачи); "Здесь для победы необходимо применить поистине нечеловеческие усилия" (из телепередачи); "В то время в консерватории работали поистине интересные люди" (К. Станиславский).

Для *поистине* более уместно употребление в середине предложения в значении наречия, а не вводного слова (Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. М.: Русский язык, 1990. С. 130–131: *Поистине* не выступает в роли вводного слова). Не употребляется это слово как вводное и в начале предложения, так как препозиция является местом для слов со значением подтверждения типа *действительно* и *в самом деле*. Однако все же встречаются случаи, в которых оно ставится в начало предложения: "Бурные перезревшие клевера осыпали на землю драгоценное семя. Поистине, каждое семечко золотое" (В. Белов); "Право, отличная мысль пришла в голову этому Родиону Антоновичу!.. Поистине, и волки будут сыты, и овцы целы" (Мамин-Сибиряк). В этих случаях *поистине* выступает в функции вводного слова или вводного предложения со значением подтверждения и усиленного утверждения и на письме отделяется запятой. Вместе с тем нельзя согласиться с квалификацией *поистине* "в значении вводного слова" толковыми словарями в фразеологизированном выражении "вот уж поистине" (ср.: Вот уж действительно), но неупотребительно "вот уж воистину". Например: "Вот уж поистине, чтобы тебе поверили, нужна чудовищная ложь" (В. Чивилихин).

Если наречие *истинно* выражает оценку достоверности высказываемого как истину "в последней инстанции", то *поистине* ставит своей целью не только утверждение достоверности, но и в какой-то мере метафорическое преувеличение в отличие от "буквально", которое выражает приближение к реализации действия (ср.: *Он поистине неистоим на выдумки* и *Он буквально неистоим на выдумки*). В разговорной речи часто встречается употребление *поистине* в функции утверждения достоверности оценки: Он был поистине неистоим на выдумки; Это была поистине чудовищная ложь; Места здесь поистине прекрасные; Она была поистине красавица; Поистине безгранична изобретательность человека.

Являясь в предложении своего рода квалификатором оценки, выра-

жаемой прилагательным или причастием, *поистине* непосредственно предшествует этим словам и запятой не отделяется.

Итак, *воистину* и *поистине* – синонимы. Авторы их иногда не различают и употребляют как слова с абсолютно одинаковым значением: "уверенность говорящего в правильности и справедливости оценки, достоверности сообщаемого". Но они различаются эмоционально-экспрессивными оттенками значений: *воистину* выражает более сильную степень экспрессии, категоричности оценки, чем *поистине*. *Поистине* в современной русской речи практически утратило значение подтверждения, используется, главным образом, для усиления достоверности, правильности и справедливости оценки. В отличие от *поистине*, *воистину* сохраняет значения подтверждения, однако оно редко употребляется в современной русской речи и практически устарело. Возможно, этот факт объясняется тем, что *воистину* – старославянское по происхождению слово и принадлежит религиозным текстам. *Поистине* и *воистину* встречаются в различных стилях речи: *поистине* – в художественном, разговорном, публицистическом, а *воистину* – в текстах религиозного содержания и в языке поэзии, хотя как средство стилизации может использоваться и в других стилях.

Эти небольшие различия и способствуют сохранению рассматриваемых слов в языке.

Санкт-Петербург



Йогу́рт или йо́гурт?

Л.П. КРЫСИН,
доктор филологических наук

"Орфоэпический словарь русского языка" рекомендует произносить это слово с ударением на втором слоге: *йогу́рт* (Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. Изд. 5-е. М., 1989). С таким же ударением слово *йогурт* зафиксировано в "Словаре ударений русского языка" Ф.Л. Агеевко и М.В. Зарва (М., 1993). В "Словаре-попутчике (малом толково-этимологическом словаре иностранных слов)" (М., 1994) и "Кратком словаре иностранных слов" Т.Г. Музруковой и И.В. Нечаевой (М., 1995) даны оба ударения: *йо́гурт*. В не менее авторитетном и при этом новейшем лексикографическом источнике – словаре современных произносительных норм, составленном докторами филологических наук М.Л. Каленчук и Р.Ф. Касаткиной, рекомендация произносить слово *йогурт* с ударением на втором слоге сопровождается запретом: "неправ[ильно] *йо́гурт*" (Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997).

Достаточно ли обоснованны эти рекомендации? Большинство наших современников произносит слово *йогурт* с ударением на первом слоге: *йо́гурт*. Это веское, но, по всей видимости, недостаточное возражение против акцентной нормы, устанавливаемой цитируемыми словарями. В свое время известный русист Абрам Борисович Шапиро говорил: даже если девяносто процентов носителей русского языка будут произносить *доку́мент* (а не *докуме́нт*), это едва ли станет официально признаваемой нормой. И он был прав: произношение *документ* не только не соответствует акцентной характеристике латинского прототипа *documentum* (где ударение на третьем, а не на втором слоге), но и является ярким признаком ненормативной речи, просторечия (сравните другие столь же яркие произносительные признаки просторечия: *прóцент*, *пóртфель*, *выбо́ра* и т.п.).

Со словом *йогурт* иная история.

Этимологически, по своему первоисточнику, это тюркизм. Более точно – заимствование из турецкого языка. В турецком это слово имеет ударение на втором слоге: *yogúrt*. Но дело в том, что в русский язык слово попало не прямо из турецкого языка, а через посредство английского (по-видимому, американского его варианта). А в английском оно укоренилось с ударением на первом слоге: *yoghurt*. Такое же ударение, на первом слоге, и в немецком: *lóghurt*, также, естественно, восходящем к турецкому прототипу (см.: Duden Fremdwörterbuch. Mannheim-Wien-Zürich, 1982. S. 373).

С Запада пришла и сама эта реалия – кисломолочный продукт с фруктовыми и ягодными добавками. Она вошла в наш быт сравнительно недавно – вероятно, с середины 80-х годов. Ее официальное торговое, а затем и обиходно-разговорное название утвердилось именно в англоязычной акцентной форме: *йо́гурт*.

А почему не во французской, где в слове *yoghourt* ударение падает на второй слог? Есть свидетельства – например, писателей В.В. Набокова, Н.И. Ильиной – того, что слово *йо́гурт* (именно с таким ударением) употреблялось в русском языке и значительно раньше, в 30–40-е годы, и его источником, вернее, посредником, был, скорее всего, французский язык. [Словарь П. Робера дает явно недостаточную этимологическую справку о происхождении слова *yog(h)ourt*, отсылая к болгарскому языку как источнику его заимствования (см.: Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française. Paris, 1973. P. 1934). Болгарские варианты этого слова: литературное *югу́рт* и диалектное *йогу́рт* (см.: "Речник на чуждите думи в българския език". София, 1982. С. 1007, 354) – это несомненные заимствования из турецкого, и болгарский послужил языком-посредником при передаче слова из турецкого во французский.]

Вопрос: в каком русском языке? В языке русской эмиграции, конечно

же, вполне возможен был "французский" вариант этого слова (и В.В. Набоков, и Н.И. Ильина хорошо знали язык русских эмигрантов и сами им пользовались). Но в русском языке на исконной территории его распространения в слове *йогурт* не было необходимости, поскольку в быту русских людей отсутствовала сама реалья, обозначаемая этим словом (но были: *простокваши*, *ряженка*, диалектное *варенец*, *кефир*, *ацидофилин*, в речи русских жителей Кавказа еще *мацони*).

Недаром, ни один словарь первой половины XX века да и более поздние – например, оба академические, "большой" и "малый" толковые словари, словарь С.И. Ожегова, словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 1992 года издания, "Словарь иностранных слов", "Современный словарь иностранных слов" (1992), орфографический словарь до 29-го издания, словарь-справочник "Русское литературное произношение и ударение", первые издания "Орфографического словаря русского языка" – слово *йогурт* не фиксирует. (Вероятно, одна из первых лексикографических фиксаций этого слова – в "Грамматическом словаре русского языка" А.А. Зализняка. М., 1977.)

Из всего сказанного можно, как представляется, сделать вывод о необходимости более гибкой орфоэпической рекомендации по произношению слова *йогурт*. Основным следует признать более распространенный акцентный вариант с ударением на первом слоге: *йогурт*, а вариант *йогурт*, по всей видимости, должен сохраниться в статусе допустимого (а с точки зрения своей распространенности – несколько устарелого).

*Беседы по культуре речи**Несколько слов о современном термине*

О. В. ДУНАЕВСКАЯ,
кандидат филологических наук

В бурно развивающейся науке создаются все новые и новые термины. При этом ученые стараются координировать свои усилия, работать в рамках некоей всемирной научной культуры. И тут возникают сложности с передачей средствами различных языков определенного понятия, появившегося в рамках какой-либо национальной науки. Как передать точный смысл слова, которое будет принято учеными любой страны?

Сейчас исследователи отказались от латыни как всемирного языка науки, термины вводятся учеными, и прежде чем говорить о переводе терминов, поговорим о путях их создания. Какие есть возможности для наименования всей той массы явлений и свойств, которые фиксируются наукой?

Давайте вспомним такие физические термины, как "смещение", "элементарные частицы", "атом", и посмотрим, насколько они соответствуют тому, что в них хотели вложить их создатели.

Мы множество раз безотносительно к физике употребляем *смещение*, *элементарный*, *неделимый*. Став терминами, эти слова использованы не в переносном значении, не метафорически, а для точного описания важного свойства. Максвелл, вводя слово "displacement", считал, что он описал именно "смещение" частичек эфира. На другие языки термин переводится дословно. Однако сейчас физика доказала, что при верности теории электромагнетизма Максвелла, ни о каком смещении несуществующего эфира говорить не приходится. И значит, термин этот, хотя мы продолжаем употреблять его в научной литературе, потерял свое смысловое наполнение.

Та же история случилась и с термином *атом*. Пришедший из греческого *атомос* – "неделимый", обозначал неделимые (или элементарные) частицы, и когда выяснилось (вернее, постоянно выясняется), что атом делим на протоны и нейтроны, а те в свою очередь на позитроны и мезоны, а те в свою очередь на кварки и глюоны (и как знать, не окажется ли скоро, что и эти последние состоят из каких-то еще более

элементарных частиц), то смысловое наполнение термина опять стало лишенным реальной основы. Термин "элементарные частицы" не годится по той же самой причине.

Значит, часто развитие науки опровергает реальность того смысла, который был вложен в термин его создателем, если термином делают венаученное слово, уже имеющее в обычном языке какое-то смысловое наполнение. В случае со словом *атом*, однако, дело сильно облегчается тем, что для всех нас оно иностранное, мы употребляем его, не вдумываясь в его исконный смысл, и обозначаемый объект не отсоединяется в нашем восприятии от внешней оболочки.

Есть другой путь рождения термина. Берется общелитературное слово и употребляется в переносном, метафорическом значении, вызывая у нас образные представления. Потом эти ассоциации отпадают, и метафора становится, как говорят филологи, сухой, мы забываем, что это метафора. Такая потеря ассоциативности для термина необходима, т.к. её сохранение уводило бы нас в сторону. Например, термин *кривая* включает в себя и окружность, и эллипс, и другие вполне гармоничные фигуры, а в обиходном языке всегда связывается нами с чем-либо уродливым, с аномалией.

Тем не менее, если уж выбирать из двух зол меньшее, метафоризация общелитературного слова очень удобна и часто оправдана в языке науки. Метафоричность видна и в таких наименованиях, как *странные частицы* или *кварк*.

"Странность" частиц говорит о загадочности вновь открытых качеств. Термин *кварк* тоже несет печать ассоциативности. Он пришел из романа Джеймса Джойса "Поминки по Финнегану", где герою снится, что он – король Марк из средневековой легенды, гонится на корабле за своей похищенной женой, а чайки кружатся над ним и человеческими голосами кричат: "Три кварка мистеру Марку!". И вот это слово, обозначающее в романе таинственное ничто, очень подошло для наименования частиц, о которых сначала лишь догадывались, это была гипотеза, и свойства кварков не были известны.

Но возможен, наконец, и третий путь, когда общелитературное слово употреблено совсем без всякой связи со своим исконным смыслом. Например, те же кварки наделены исследователями, кроме *странности*, еще и *цветом* (хотя никакого цвета у них нет), *запахом* (хотя они не пахнут), *очарованием* и *прелестью*. В русской научной литературе эти слова переводятся, и тогда возникают совершенно удивительные для неспециального текста. Член-корреспондент АН СССР Е.Л. Фейнберг в статье "Перевод и культура" (Природа. 1985. № 8) приводит вполне правильную для науки фразу: "Если очарованный кварк соединится с антикварком, не обладающим ни странностью, ни прелестью, ни очарованием, то возникает Д-частица, обладающая

скрытым очарованием". Конечно, при таком употреблении нам нелегко совсем освободиться от навязанных традицией исконных значений слов.

Как же поступать с терминами, появившимися в рамках другого языка? Конечно, нет надобности использовать иноязычное слово там, где уже есть русское, но и совсем необязательно создавать русское, если в языке прижилось иноязычное обозначение. Хотя поборники чистоты русского языка и предлагали заменить *театр позорищем*, мы все-таки говорим: *театр*. Закрепились слова *футбол*, *гол* и др. Такого рода заимствования обогащают язык.

В языке науки некоторые слова транслитерируют (т.е. передают средствами русского алфавита такие термины, как *диффузия*, *вакансия*, *дислокация* и проч.), а некоторые переводят.

Конечно, часть трудностей была бы снята, если бы был язык-посредник, как в прошлом древнегреческий, а потом латынь. Причем в качестве языка-посредника хорош именно мертвый язык, так как его лексика не порождает в нас вненаучных ассоциаций (отсюда слова *биосинтез*, *ионосфера* и др.). Можно ведь образовывать новые термины на базе корней таких языков; так возникли *космология*, *география* и множество других. Хорошим выходом из положения может быть и создание аббревиатур, таковы английские слова *лазер* (англ. *laser* – сокращение выражения *light amplification by stimulated emission of radiation*) "усиление света при помощи вынужденного излучения") или *квазар* (англ. *quasar*, сокращение от *quasistellar radiosource*). Такие термины просто приспособляются к грамматическим средствам разных языков, они не требуют перевода.

Если же все-таки перевод слова может понадобиться, а эквивалентного термина нет, то всегда можно рекомендовать нашей научно-технической периодике обратиться к переносу термина из родного для него языка, т.е. транслитерации.

Практикум по культуре речи

Я говорю – ты говоришь

Что такое "хорошая речь"? Трудно не согласиться с тем, что это прежде всего речь правильная. Критерием правильности является норма. Норма – это то, как принято говорить и писать в данном обществе в данную эпоху; это образцовое употребление языка. Нормы складываются постепенно в речевой практике людей, обладающих высокой языковой культурой. Если говорить о литературном языке, то его норма закрепляется в словарях и справочниках, в художественной литературе. Закрепление объективно существующих литературных норм называется кодификацией (от лат. *codex* "книга").

Конечно, норма не является чем-то застывшим, постоянным. Она изменяется, но не так быстро, как речевая практика. Именно это делает язык стабильным, помогает ему достаточно долго оставаться самим собой, обеспечивает взаимопонимание поколений. Так опыт одного поколения передается другому, сохраняется и развивается культурное наследие нации.

Нормы литературного языка разнообразны – это нормы фонетические (произношения и ударения), орфографические и пунктуационные, грамматические и лексические (нормы употребления слова).

Лексические нормы занимают в нашем сознании особое положение: обычно мы относимся к ним довольно свободно, они не кажутся нам такими обязательными, как, скажем, грамматические или фонетические, мы чаще их нарушаем. Когда мы говорим о лексических нормах, то имеем в виду точное соответствие смысла слова тому предмету, признаку или действию, которые мы данным словом называем, а также правильную сочетаемость одного слова с другим.

Чтобы правильно пользоваться словом, надо научиться его чувствовать, осознавать его смысл. Попробуйте оценить свои речевые навыки с помощью предлагаемых заданий и ответов на них (с. 124). Заметим только, что ответы эти не единственно возможные. Вы можете найти и свое решение, важно только, чтобы оно соответствовало лексическим нормам современного русского литературного языка. Чтобы убедиться в том, что вы правильно используете то или иное слово, можно обратиться к толковому словарю – общему или специальному: Словарь русского языка, в 4-х томах. Под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1985–1988; Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка: М.: Русский язык, 1984; Лексические трудности русского языка. А.А. Семенюк (руководитель авторского коллектива). М.:

Русский язык, 1994; Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка. М.: Русский язык, 1994; Музрукова Т.Г., Нечаева И.В. Краткий словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1995.

Задание 1. Подходящая пара.

Найдите подходящую пару для каждого слова: *акцент, вертеть, вопрос, высокий, дражайший, игра, класс, ловить, полный*.

Не забудьте, что многие слова в русском языке имеют не одно, а несколько значений – для таких слов дайте две-три пары, чтобы одно слово имело разный смысл. Для существительных и глаголов парой прежде всего будет зависимое слово, а для прилагательных – главное, но возможна и обратная ситуация.

Как это сделать? Скажем, *коренастый* → человек ("крепкого сложения, невысокий и широкоплечий") → дуб ("с крепкими корнями").

Задание 2. Одно вместо многих.

Каким одним словом "х" можно заменить слово (или словосочетание) в каждом из блоков (А, Б, В) предложений?

А. 1. Она сшила платье из красивой ткани.

2. На основе этих сведений была написана биография писателя.

3. Документы по этому делу были переданы в суд.

4. Из этого сырья можно изготовить разную продукцию.

Б. 1. Она окинула меня высокомерным, даже вызывающим взглядом.

2. Он блестяще выполнил задачу, совершив несколько смелых полетов.

В. 1. Этим поступком он признался в своей беспомощности.

2. Начав писать, он так увлекся, что его нельзя было остановить.

3. Наконец-то они оформили свое вступление в брак.

Как это сделать? Предположим, что у нас есть три предложения:

1. Зачем ты срываешь такое незрелое яблоко?

2. Тогда я был неопытным юнцом и многого не понимал.

3. Она увидела его бледное, безжизненное лицо.

Найдем в каждом из этих предложений слова, частично сходные по смыслу. В наших предложениях это "незрелый", "неопытный" и "бледный". Каким одним словом можно заменить эти слова? Словом "зеленый":

1. Зачем ты срываешь такое *зеленое* яблоко?

2. Тогда я был *зеленым* юнцом и многого не понимал.

3. Она увидела его *зеленое*, безжизненное лицо.

Придумайте сами предложения к этому заданию.

Задание 3. Что значит "чайник"?

А. 1. Этот "чайник" был известен тем, что здесь всегда можно увидеть много разных птиц.

2. В руках у него был длинный ивовый "чайник", которым он небрежно помахивал.

Б. 1. Многие думают, что у каждого человека есть свой скрытый "чайник".

2. Осторожно, не споткнись, здесь такой высокий "чайник".

В. 1. Он с таким "чайником" взялся за это дело, что скоро все было сделано.

2. Она любит рассказывать про всякие "чайники", а я от страха боюсь пошевелиться.

Как это сделать? "Чайник" – это слово, которое заменяет синонимы:

Я закрою дверь на "чайник".

Этот "чайник" находится недалеко от большого дуба.

Здесь слову "чайник" соответствуют слова *ключ* (1) и *ключ* (2): в первом предложении это "ключ от двери", во втором – "ключ как источник".

Придумайте сами предложения с "чайником".

Задание 4. Да или нет?

Можно ли так сказать? Если "да" – поставьте "+", если "нет" – "-" и объясните, какое слово используется неправильно.

1. Часто перед родителями стоит дилемма: какую книгу купить ребенку.

2. Уже несколько лет прошло с тех пор, как я не ношу часов. Этот аксессуар был утерян мной "при невыясненных обстоятельствах".

3. Оперативные работники Федеральной службы охраны положительно отзываются о Кузнецове, апеллируя к убийственному аргументу: "Свой. Профессионал".

4. Единственными, кто его недопонял, были собравшиеся журналисты. Но не у них же министр выгадывал деньги на кредитование нашего сельского хозяйства.

5. Неторопливо чередуя поклажу, таможенники (по словам очевидцев) буквально залезают носами в сумки и жадно втягивают воздух.

6. Воспитание он получил спартанское, как и все послевоенные дети.



*Почему погода не рассчитывается,
а предсказывается и прогнозируется?*

Р.А. СИМОНОВ,
доктор исторических наук

В "Шестоднев" Иоанна экзарха Болгарского (IX–X вв.) имеется небольшой фрагмент, в котором рассказывается о полуфантастическом животном *ехине*, по-видимому, морском еже. Ехин здесь наделяется способностью предсказывать бурю. В ее преддверии он якобы вылезает на скалу и крепко цепляется за нее, чтобы не смыло в море. Проплывающие мимо моряки, видя ехина, заключают, что скоро будет сильная буря. Возможно, в основе этого сюжета лежит определенная реальность, обусловленная способностью некоторых животных улавливать геомагнитные колебания, изменения силовых полей и ветра, предшествующие переменам погоды. В какой-то степени аналогичной особенностью отличаются страдающие ревматизмом и другими болезнями люди, у которых перед изменением погоды появляется "ломота" в костях.

В контексте поставленного в заголовке вопроса представляет интерес завершающая часть притчи о ехине: "Никакой астролог и халдей, смотрящий на восхождение звезд и предсказывающий [по ним] движение воздуха, не обучал этого ежа, но тот, кто господин моря и ветров, малое животное отметил истинным знаком своей великой премудрости"

(Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. V Слово. Перевод Г.С. Баранковой. М., 1996).

Как следует из дальнейших слов древнего рассказа, "господин моря и ветров" – это Бог. Для средневекового христианского мировосприятия было естественным объяснять таинственные явления промыслом божьим. Известно, что наука до сих пор не дала объяснения многим таинственным явлениям. Рассуждая о них, современный человек нередко говорит: "А Бог его знает, что это такое", тем самым переключаясь с оценкой таинственного, дававшейся тысячу лет назад Иоанном экзархом Болгарским. Сейчас человек представляет, что астрология претендует на предсказание судеб людей. Но погода..., кто не ведает, что ею занимается метеорология, а не астрология. Не значит ли это, что "Шестоднев", говоря о предсказании астрологами движения воздуха, повествует о неведомых теперь астрологических корнях метеорологии? Воспроизведенный перевод древнего славянского текста восходит к греческому "Шестодневу" византийского духовного писателя Василия Великого, т.е. истоки связи астрологии с метеорологией уходят в еще большую древность.

Обсуждался ли в русской литературе вопрос о связи астрологии с метеорологией? Известен один такой случай более 150-летней давности. В 1842 году крупный историк М.П. Погодин в № 1 своего журнала "Москвитянин" опубликовал архивный гороскоп Петра I, который получил от директора Московского архива Министерства иностранных дел князя М.А. Оболенского. Там же был напечатан отклик известного московского математика и астронома Д.М. Перевощикова (впоследствии академика), к которому М.П. Погодин обратился с просьбой прокомментировать гороскоп Петра I. Д.М. Перевощиков отказался от комментариев по той причине, что нельзя "делать замечаний на бред, заслуживающий одного только презрения". Он посчитал более полезным для читателей познакомиться с историей астрологии, чему посвятил краткий очерк. На гороскоп Петра I и очерк Д.М. Перевощикова была дана рецензия в "Русском вестнике" (1842. № 2), в которой текст по истории астрологии рассматривался "слишком положительно и односторонне говоря[щим] о предмете". Что послужило основанием для такого заключения?

В своем очерке Д.М. Перевощиков выделял в составе астрологии естественнонаучную часть, связанную с изучением явлений природы, в том числе погоды. Эту часть астрологии он характеризовал как имеющую определенный научный смысл, называя метеорологию "естественной астрологией", занимавшейся "предсказаниями" хорошей и дурной погоды, дождей, ветров, холода, тепла, изобилия плодов, неурожая, болезней и пр.". В то же время Д.М. Перевощиков резко критиковал астрологию судьбы, завершая очерк словами: "Гороскоп

Петра I и всякий другой гороскоп унижает тех людей, которые, занимаясь таким вздором, забывают, что судьба человечества не в звездах, но в руке Вседержителя".

Изложенное показывает, что более 150 лет назад ученые не только знали о связи между астрологией и метеорологией, но считали последнюю естественной (природной) астрологией, причем оценивали ее позитивно. Между тем, судя по рецензии в "Русском вестнике", уже тогда кругам, настроенным отрицательно к астрологии, такая оценка казалась неприемлемой. В наше время также найдется немало людей, относящихся к астрологии резко отрицательно. Думается, что не всем метеорологам будет приятно мысль о бывшей связи их науки с астрологией. Поэтому не лишним будет знать, что "отлучение" астрологии от университетской и академической науки произошло лишь примерно три века назад.

В Германии и других странах еще в XVIII веке на медицинских факультетах некоторых университетов преподавалась астрология. Во Франции же в начале XVIII века Академия наук даже делала специальные объявления о том, что не производит астрологических прогнозов. В период Возрождения естественная астрология играла важную роль в разработке знаний естественнонаучного характера, в том числе метеорологии. Подобно этому существовавшая параллельно алхимия играла важную роль в развитии химии, на что указывает сама схожесть названий. Между словами *астрология* и *метеорология* такой схожести нет. Однако есть сходство в наименовании деятельности – предсказание и прогнозирование. Когда мы говорим о предсказании или прогнозировании погоды, то, не ведая того, как бы восстанавливаем былую связь метеорологии с астрологией. Эта связь впервые в явной форме была представлена в одном из древнейших славянских памятников – "Шестоднев" Иоанна экзарха Болгарского.



Библейские фразеологизмы

Опыт словаря

Л.М. ГРАНОВСКАЯ,
доктор филологических наук

*Господен язык совершенен, в нем под
рукой все буквы и слова, всё вырази́мо,
всё звучит и всё искуплено.*

Г. Гессе. Магия книги

Библия – одна из величайших книг на земле. Постигание ее – процесс бесконечный, протянувшийся на многие столетия. Существует большое количество школ, изучающих Библию, интерпретирующих ее содержание, образный строй ее языка.

Библия, говорил знаменитый философ Григорий Сковорода, есть «поле следов Божиих (...) Каждый след в символе. Символы, цепляясь один за другой, возводят ползущий разум наш к полноте божественной Истины. Они открывают в нашем грубом практическом разуме второй разум, тонкий, созерцательный, окрыленный, глядящий чистым и светлым оком голубицы. Библия поэтому вечно зеленеющее, плодоносящее дерево. И плоды этого дерева – тайно образующие символы. Когда ум человеческий, приступив к дереву, срывает зрелый плод божественной истины, "листвие", окружавшее плод, "паки отпадает в прежнее тлени своей место"» (Эрн Вл. Григорий Сковорода. М., 1912).

Устойчивые сочетания, афоризмы из Книги книг были усвоены русской словесной культурой. В библейской фразеологии отложился ступок длительного, уникального исторического опыта.

В русском языке смысл библейских фразеологизмов иногда отли-

чается от своего прототипа. Например, выражение *мерзость запустения*, взятое из Книги пророка Даниила (9,27), обозначает в русском литературном языке "полное разорение, опустошение, грязь", а в Библии – это "негативное обозначение языческого бога или его скульптурного изображения" (Гури И. Библейские фразеологизмы в современном русском языке // *Jews and Slavs. Jerusalem, 1993. Vol. I*).

В изречениях Христа *верблюды* – рельефное изображение чего-то великого, например, великой важности, великой трудности. Понятен смысл сопоставления: *Удобнее верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому в Царствие небесное*.

Знакомство с библейской фразеологией, органично вошедшей в состав русского литературного языка, позволит нашим читателям вжиться в библейский "космос", глубже понять многие мотивы, сюжеты и образы русской литературы, шире использовать в своей повседневной речевой практике.

Альфа и омега

Альфа и омега – первая и последняя буквы греческого алфавита. Выражение буквально означает: первое и последнее, "начало и конец, основа всего" (Словарь современного русского литературного языка. М.–Л., 1950. Т. 1. Далее ССРЛЯ. Том). *Альфой и омегой* называет себя Господь.

В книге пророка Исаии говорится: "Я – Господь первый, и в последних Я – тот же" (41,4). Это же противопоставление содержится в Апокалипсисе: "И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника воды живой; Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном" (Откровение Святого Иоанна Богослова. 21,6–7).

"По отношению к бытию тварному Господь Вседержитель есть *Альфа*, или начаток в том смысле, что не только Он есть прежде всего существующего и сотворенного, но в Его благоволении содержатся основные и условия бытия всяческие, или Им все начало быть. Он же есть и *Омега*, или конец в том смысле, что и последние цели всего сущего определены Его мыслью, осуществляются по Его предначертанию и должны исполниться через открытие в мире Его славы" (Бухарев А.М. [Архимандрит Феодор]. Исследования Апокалипсиса. Сергиев Посад, 1916).

Известно, что буквам издревле приписывался символический смысл. Так, в Евангелии от Фомы говорится, что Иисус, будучи ребенком, рассказал своему учителю Закхею об устройстве первой буквы – *альфы*: "Обрати внимание, какие она имеет линии и в середине черту, проходящую через пару линий, которые, как ты видишь, сходятся и расходятся, поднимаются, поворачиваются, три знака того же самого свойст-

ва, зависимые и поддерживающие друг друга, одного размера. Вот таковы линии альфы" (Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии. М., 1989).

В церкви был обычай соединять греческие *альфу* и *омегу* с изображением креста или монограммой имени Иисуса Христа, "начертание на образах, гробницах, стенах (...). Видишь их и говоришь себе: это – Иисус Христос, Альфа и Омега, т.е. начало и конец всего существующего и якорь нашего спасения, одно из лиц Св. Троицы, изображаемой треугольником" (Успенский П. Книга бытия моего. СПб., 1854. Т. VI).

Некоторые примеры употребления этого фразеологизма в русской литературе:

О, друг! ты альфа и омега
Любви возвышенной мост!

Языков. Аделаида

"Альфа и омега кухни – кухарка Пелагея – возилась около печки" (Чехов. Кухарка женится).

Блаженны нищие духом

Нищий духом (иноск.) «смиранный (...) "*Нищий духом*, т.е. считающий себя недостойным, а потому стремящийся святою жизнью удостоиться высших благ небесных. Некоторые ошибочно понимают это слово в прямом смысле, т.е. нищий умом – глупый"» (Михельсон М.И. Русская мысль и речь: Свое и чужое. СПб., 1902. Т. 1).

ССРЛЯ определяет слово *блаженный* в трех значениях: 1) счастливый, испытывающий полное удовлетворение; 2) эпитет некоторых святых; 3) в просторечии "глуповатый, чудаковатый" (Т. 1).

Выражение вышло из Нагорной проповеди Иисуса Христа: "Увидев народ, Он взшел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное" (Евангелие от Матфея. 5, 1–3).

П.Д. Успенский в книге "Новая модель вселенной" писал: "Нищие духом – очень загадочное выражение, которое всегда неправильно истолковывалось и давало повод для самых невероятных искажений идей Иисуса. Несомненно, "нищие духом" не означает слабости духа, но это и не бедность в материальном смысле. Эти слова в истинном своем смысле близки к буддийской мысли о непривязанности к вещам. Человек, который силой своего духа делает себя непривязанным к вещам, как бы лишается их, так что вещи имеют для него столь же малое значение, как если бы он и не владел ими и ничего о них не знал, – такой человек будет нищим духом" (СПб., 1993).

По мнению некоторых толкователей, быть *нищим духом* означает, что мы не имеем ничего своего, а имеем только то, что дарует Бог,

и человек должен смирать себя. Смирение спасает человека. *Нищие духом*, по учению отцов церкви, должны были войти в царствие небесное. "Нищий духом – это **самый духовно богатый человек** на свете, ибо в его душу, раскрытую горнему миру, входит величайшее, премирное сокровище – Христос. Нищий духом – это не человек, лишенный мыслей и чувств, это не человек, отказавшийся от размышлений, от свободы или от творчества. На языке Библии нищий духом – это человек, жаждущий встречи с Богом, человек, готовый мужественно претерпеть искушения и испытания, гонения и насмешки **ради того, что он любит более всего на свете**. Это человек, готовый всей своей жизнью – и радостью, и болью, и дерзновением, и послушанием, и сердцем, и разумом – служить Свету" (Диакон Андрей Кураев. Кто нищ духом // Труд. 1997. 10 апр.).

Разное понимание этого сочетания выявляется в примерах его употребления:

Но ты, иной взалкавший пищи,
Ты, что молитвою влеком,
Высокий сердцем, духом нищий,
Живущий мыслью со Христом

А.К. Толстой. Иоанн Дамаскин

"У них не было впечатлений и интересов... Иногда, по праздникам, они ходили в гости к таким же нищим духом, как сами" (Горький. Супруги Орловы).

Блудный сын

Иносказат.: "нравственно блуждающий, распутный" (Михельсон. Указ. соч. Т. 1); "любодейный, распутный, развратный; *Блудный сын – ранняя могила отцу*" (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. I); "Ушедший из родительского дома и вернувшийся после скитаний, растратив в порочной жизни полученное от отца имущество" (Словарь русского языка XVIII в. Л., 1985. Вып. 2).

ССРЛЯ дает это сочетание с пометой *устар.*: "человек, вернувшийся к родителям после неудачных скитаний и поисков лучшей жизни" (Т. 1), Словарь русского языка (Изд 2-е. В 4-х т. М., 1981) приводит помету: *шутлив.*, предлагая более широкое значение: "о человеке, покинувшем какое-л. содружество, коллектив, привычные занятия и т.д. в поисках новых, иных занятий, новой среды и т.п., а впоследствии вернувшимся к прежнему" (Т. I).

В евангельской притче о *блудном сыне* говорится, что, живя распутно, расточив свое имение, и после долгих лет скитаний он вернулся к своему отцу и был прощен: "А отец сказал рабам своим: принесите

лучшую одежду и одените его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; И приведите откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться" (Евангелие от Луки. 15,22–24).

Этому фразеологизму некоторые толкователи придают и другой, более широкий смысл: в мире греховном человек лишь на короткое время находит чувственное наслаждение. Вскоре он начинает ощущать голод духовный и возвращается к отцу своему, т.е. к Богу, и начинает жить добродетельно. Дом наполнился радостью, ибо считавшийся погибшим вернулся. "Точно так радость бывает на небесах о грешнике кающемся" (Бухарёв И. Толкование на Евангелие от Луки. СПб., 1902). "Всемирно-историческое удаление блудного сына из дома отца, эпохи гуманизма, в течение которой человечество испытывает свои силы и делает отчаянную попытку устроиться и прожить без Бога, имеет свой смысл и свою необходимость", – писал С.Н. Булгаков (Церковь и культура // Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991).

Авторы видят в легенде *о блудном сыне* продолжение: этот сюжет тянется от Агари и Исмаила, Иосифа, проданного в рабство.

А. Мень писал: "Это притча также о нас, когда мы забываем о своем Небесном Отце, когда мы уходим от него далеко, увлеченные своими страстями, мелочами, повседневностью жизни, когда мы уже на стороне, далече, и нам кажется, что Бог и настоящая жизнь от нас далеко-далеко, за тысячу верст, когда мы живем в своей суете, и проматываем, теряем все душевные сокровища и дары Святого Духа, и уже не можем молиться, не можем открыть Священное Писание, потому что в голове у нас посторонние мысли, а сердце суетное и тщеславное. Когда мы отпали, заблудились, потерялись" (Проповеди прот. А. Мень: Пасхальный цикл. М., 1991).

По мнению некоторых исследователей, в состав библеизмов вошло также выражение *возвращение блудного сына* (См.: Лилич Г.А., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Библеизмы в русском, чешском и словацком литературных языках // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Серия 2: история, языкознание, литературоведение. 1993. Вып. 3).

Притча *о блудном сыне* – один из самых распространенных сюжетов в литературе. По мнению профессора Б.М. Гаспарова, "история князя Игоря содержит ряд элементов, позволяющих сопоставить ее с притчей о блудном сыне" (Гаспаров Б. Поэтика "Слова о полку Игореве" // Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 12. Wien, 1984). Поражение князя Игоря описывается как "расточение имения" – Русской земли в далекой стране, куда герой "отлетел от отцовского престола".

Ганс Кюхельгартен в первом юношеском произведении Н.В. Гоголя бежит из дома, проводит два года в скитаниях, а затем, раскаявшись,

возвращается в отчий дом и к своей невесте. Некоторые исследователи считают, что отзвуки этой притчи есть и в "Тарасе Бульбе": история двух братьев, один из которых отрекается от родни (См.: Холук Н.В., Янушкевич А.С. Отзвуки притчи о блудном сыне в исторических повестях Н.В. Гоголя // Вечные сюжеты русской литературы. "Блудный сын и другие". Новосибирск, 1996).

Одно из ранних произведений Н.С. Гумилева – поэма "Блудный сын". Она была прочитана им в апреле 1911 года на заседании "Общества ревнителей художественного слова".

Мотив *блудного сына* есть в "Пирамиде" Л. Леонова, где герой Вадим дважды бежит из отцовского дома, хотя и не раскаивается в содеянном.

Вавилонское столпотворение (смещение)

Возникло из библейского рассказа о греховной гордыне людей – попытке человека построить башню до небес (в подлиннике: "А голова ее в небесах") и сравняться с Богом. Отметим, что в церковнославянском языке само слово *столпотворение* означает "творение, создание башни, столпа".

Вавилонская башня начала строиться в правление Нимврода. Огромное число людей участвовало в этом строительстве. "Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли". "Для того, чтобы заняться этим строительством, люди, по замыслу Нимврода, должны были прежде всех утратить веру в Бога, ибо именно Бог укажет человеку его истинное призвание, строители же башни решили все свои духовные и физические силы посвятить ее возведению. Они должны были также полностью утратить веру в бессмертие души" (Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. М., 1994).

"И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город" (Первая книга Моисеева. Бытие. 11,5–8).

В переносном смысле это выражение означает: "беспорядок, шум, суматоха, неразбериха"; у В. Даля – "бестоличь, где друг друга не понимают" (Т. I), "беспорядок, неустройство, неурядица, замешательство" (Словарь русского языка XVIII в. Вып. 2). Этому фразеологизму некоторые исследователи приписывают и другой смысл: "Вся жизнь человека, накопление богатств, приобретение власти или знаний – все это постройка Вавилонской башни, ибо должно закончиться катастрофой, смертью. Смерть суждена всему тому, что не может перейти на новый план бытия" (Успенский. Указ. соч.).

Согласно взглядам ряда библеистов, слово *Вавилон* восходит к еврейскому *балал* "мешать, путать, приводить в замешательство". Очевидно, в этом объяснении есть нечто от народной этимологии. Скорее всего, *Вавилон* восходит к слову *Баб-ил*, что значит "Врата Бога". Один из замечательных храмов, где "сходятся небеса с землею", был действительно построен в VI в. до н.э. Навуходоносором. Таким образом, реальный прототип недостроенной Вавилонской башни был завершен и долгое время оставался непревзойденным памятником архитектурного искусства (Кленгель-Брандт Э. Вавилонская башня. М., 1991).

Фразеологизм *вавилонское столпотворение* (*смешение*) широко используется в книжных стилях литературного языка, например: "Культура есть язык, объединяющий человечество; но разве не находимся мы в Вавилонском смешении языков, когда никто никого не понимает и каждая речь служит только, чтобы окончательно удостоверить и закрепить взаимное отчуждение?" (Флоренский П.А. Сочинения // У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2); "Мы не знаем, к чему могло вести это *вавилонское столпотворение*: во всяком случае, оно клонилось, если не к смешению языков, то к сокращению и совершенному извращению их школьного преподавания" (Трубецкой С.Н. Сумлеваюсь штопъ... // Собр. соч. М., 1907. Т. I).

Продолжение следует



РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДИАЛЕКТНОЙ ОСНОВЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Т. И. ВЕНДИНА.

доктор филологических наук

Изучение истории русского литературного языка связано с определенной традицией в освещении ключевых вопросов. После известной работы А. С. Будиловича (Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы. Варшава, 1892. Т. 1–2) в центре внимания историков литературного языка были такие вопросы, как соотношение литературного языка с диалектами, просторечием, народно-поэтическим койне (*койне* – греч. *koine*, общий язык, возникший на базе одного или смешения нескольких диалектов) и т. д., влияние церковнославянского языка, однородность или разнородность диалектной базы, легшей в основу литературного языка, непрерывность или прерывность его развития и др. При этом следует отметить, что степень научной проработанности каждого из этих вопросов в теории истории русского литературного языка разная. Обратимся к одному из них, как будто бы наиболее изученному вопросу, – соотношения русского литературного языка с его диалектной основой.

Как известно, современные славянские литературные языки различаются между собой прежде всего с точки зрения их близости к диалектной базе. На одном полюсе находятся языки, имеющие прочную и непосредственную связь с четко очерченной диалектной базой (классическим примером такого языка может служить сербскохорватский, диалектной основой которого является восточногерцеговинский диалект штокавского диалектного массива), а на другом – языки, диалектная база которых размыта, как, например, в польском, где с трудом обнаруживается диалектная основа как для современного языка, так и для предшествующих периодов его развития (в польской лингвистике, в частности, до сих пор идет спор о том, какой диалект польского языка – великопольский или малопольский – лег в основание польского лите-

ратурного языка). Восточнославянские языки на шкале этих различий занимают срединное положение, причем картина здесь неоднородная: если украинский и белорусский языки имеют довольно прочную и тесную связь с диалектной базой, то в русском литературном языке эта связь менее тесная. Исследования последних лет показали, что здесь речь может идти не столько о локальном (московском) говоре, сколько о московском городском койне, составившем базу русского литературного языка.

Отсутствие тесной связи с диалектной основой, по мнению ряда ученых (Н.С. Трубецкой, Н.И. Толстой), во многом объясняется существованием давней (непрерывной) литературно-языковой церковнославянской традиции, тогда как разрыв с традицией (или ее отсутствие) обуславливает прочную связь с диалектной базой (Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988). Возможно, именно этим обстоятельством и объяснялись отсутствие у исследователей интереса к поискам диалектной основы русского литературного языка и концентрация внимания, главным образом, на вопросе соотношения русской и церковнославянской стихий в становлении литературного языка.

Между тем, еще В.В. Виноградов в статье "Изучение образования и развития древнерусского языка" указывал на то, что лексические различия между древнерусскими диалектами практически не выявлены, поскольку "в исследованиях по истории русского литературного языка очень мало работ, которые затрагивали бы и разъясняли проблему взаимодействия словаря литературного языка как Киевской, так и Московской Руси со словарями других областных древнерусских культурных центров... Больше того: ни проблема диалектных различий в литературном языке Киевской Руси, ни роль киевского литературно-языкового наследия, ни соотношение северновеликорусской и южно-великорусской стихий в составе лексики государственно-деловой и разговорной речи допетровской Руси полностью не раскрыты, основы литературного слога не очерчены" (Виноградов В.В. Изучение образования и развития древнерусского языка // История русского литературного языка. Избр. тр. М., 1978).

Продолжая эту тему в статье "О связях истории русского литературного языка с исторической диалектологией", В.В. Виноградов замечает: "Особенно мало сделано у нас в области изучения лексических взаимодействий русского литературного языка и народных говоров. Понятно, что и пути, и способы, и интенсивность этих взаимодействий различны в разные периоды истории русского литературного языка. Вопрос о проникновении областных, местных слов и выражений в структуру литературного языка на разных стадиях его развития, о литературных, стилистических функциях и их семантической эволюции,

вопрос о тех словарных вкладах, которые сделаны в сокровищницу общерусского национального языка отдельными областями России, у нас почти не затронут. Особенного внимания заслуживает процесс формирования московского государственного языка XVI–XVII вв., в состав которого более широкой и мощной стихией вошла устно-разговорная, народная речь, чем традиция древнего славяно-книжного языка. Интересны и наблюдения над поглощением отдельных местных слов – южных и северных – московизмами, т.е. будущими общерусизмами, и над принципами и мотивами московской канонизации разнообразной областной лексики, за которой таким образом признавалось право на включение в общенациональную словарную сокровищницу. Ведь даже исторически менявшиеся взаимоотношения русского литературного языка с северными и южными великорусскими народными говорами еще не раскрыты во всей их широте и социальном многообразии" (Виноградов В.В. О связях истории русского литературного языка с исторической диалектологией // История русского литературного языка. Избр. тр. М., 1978).

Несмотря на то, что эти слова были написаны более тридцати лет тому назад, следует признать, что они не утратили своей актуальности и в настоящее время. Поскольку и сегодня при описании истории русского литературного языка, и, в частности, при рассмотрении вопроса о его взаимоотношении с северно- и южнорусскими говорами, в центре внимания оказываются прежде всего данные фонетики и морфологии (особенности севернорусской системы согласных и южнорусской системы гласных, склонения отдельных форм местоимений или оформления личных окончаний глаголов и др.). Сведения же по лексике носят эпизодический характер, поскольку лексика в этом аспекте, действительно, практически не исследовалась.

Такое положение дел в изучении истории русского литературного языка во многом объясняется, как представляется, развитием русской диалектологии, которая пока, к сожалению, не располагает полным реестром лексических диалектизмов или работой обобщающего характера о лексической противопоставленности русских говоров. Это связано, по-видимому, с тем, что в диалектологии долгое время существовало скептическое отношение (идущее еще со времен младограмматиков) к фактам лексики и словообразования как к фактам, которые в силу своей мозаичности и повышенной языковой проницаемости не позволяют провести ареальную классификацию того или иного диалектного ландшафта, поэтому лексические диалектизмы (судьбы которых часто оказывались индивидуальными) традиционно считались аморфными, не позволяющими четко обозначить границы диалектных различий. В связи с этим в центре внимания диалектологов были, главным образом, фонетические и морфологические различия. Думается,

что именно этим обстоятельством объясняется тот факт, что "исследование разных народно-областных потоков в истории литературного словаря находится еще в зачаточном состоянии..." (Виноградов. О связях истории русского литературного языка...).

Следует, однако, признать, что этому в немалой степени способствовали и объективные причины, а именно: сложность и необъятность самого предмета исследования, трудности сбора и систематизации лексического материала, отсутствие достаточно репрезентативных для многих территорий диалектных словарей или вообще их отсутствие (в частности, для Ростово-Суздальской земли), сам характер этих словарей, являющихся в большинстве своем дифференциальными и т.д., а главное, негативное отношение к диалектам. Оно было в значительной степени связано с существовавшей многие годы теорией об отмирании диалектов в условиях бесклассового общества. Теория эта своим существованием во многом обязана языковой политике нашего государства, основные направления которой сформировались еще в 20-е годы. В основе этой политики лежал тезис об отмирании элементов "старого качества" (носителем которых было отсталое крестьянство, которое в силу своей "мелкобуржуазной сущности" тормозило движение общества вперед) и развитии элементов "нового качества". Позднее этот тезис получил теоретическое обоснование в известной сталинской статье "Марксизм и вопросы языкознания", где заявлялось, что диалекты, представляющие собой ответвления от общенародного национального языка, "лишенные какой-либо языковой самостоятельности, обречены на прозябание".

Эпоха строительства социализма породила своеобразный социальный заказ, связанный с дискредитацией старых народных традиций, народной культуры и, соответственно, диалектов. "Заинтересован ли пролетариат в сохранении крестьянского разноязычия? – спрашивали авторы "Очерков по языку" А.М. Иванов и Л.П. Якубинский и отвечали: – Нет. Он заинтересован в его ликвидации. То обстоятельство, что русский национальный язык до сих пор не стал еще достоянием всего крестьянства, является одним из препятствий на пути социалистического строительства" (М. – Л., 1932).

Интерес к изучению народного языка расценивался как реакционный, "тянувший язык к отсталым формам быта, к отсталой идеологии эксплуатируемых и невежественных масс" (Предисловие к Толковому словарю Даля. М., 1935. Т. I), поскольку, согласно официальной точке зрения, «язык колхозника очищается от накипи веков, тормозящей его дальнейшее развитие, приобщение к пролетарской культуре, – писал Ф.П. Филин в своем "Исследовании о лексике русских говоров". – Исчезает специфически "крестьянское", "мужицкий дух", который так приятно щекотал обоняние различного рода пейзажистам... И на этом

участке отходит в прошлое "идиотизм деревенской жизни"... Как территориальные, так и социальные диалекты в нашей великой социалистической стране за последние годы находятся в стадии ясно выраженного отмирания» (Филин Ф.П. Исследования о лексике русских говоров. М. – Л., 1936; подробнее об этом см.: Касаткин Л.Л. Русские диалекты и языковая политика // Русская речь. 1993. № 2). Естественно поэтому, что основные стратегические направления исследований сводились к доказательству "исчезновения резких особенностей территориальных говоров и быстрого приближения крестьянских говоров к современному литературному языку" (Каринский Н.М. Очерки языка русских крестьян. М. – Л., 1936). Такой подход к изучению диалектов сохранился и тридцать лет спустя, вследствие чего создавалось впечатление, что "исчезновение диалектов – уже совершившийся факт" (История русской диалектологии. М., 1961). Эта официально санкционированная точка зрения на положение русских диалектов отрицательно сказалась на их изучении, поскольку на первый план выдвигалась задача изучения речи "передового" слоя крестьянства, что, естественно, искажало картину соотношения литературного языка и диалектов.

Начавшееся в 70-х годах ширококомасштабное лексикографическое и картографическое изучение диалектов показало ошибочность этих утверждений, так как обнаружило огромные пласты прекрасно сохранившейся диалектной лексики. Самым убедительным доказательством явилась публикация сначала словаря, а затем и лексического атласа говоров Подмосковья, т.е. тех говоров, которые, находясь в непосредственной близости к крупнейшему административному и культурному центру, способствующему утрате или нивелировке диалектизмов, должны были бы давным-давно исчезнуть, однако они сохранили диалектизмы в великом множестве, демонстрируя жизненную силу, богатство и образность народного языка (ср., например, такие диалектизмы, как *пунька* "постройка для хранения мякины" (ю.-зап.), *творило* "подъемная дверь в погреб" (юг), *голбец* "деревянная пристройка к печи в виде лежанки" (сев.), *рогач* "ухват" (ю.-вост.), *наливка* "половник" (зап.), *ставок* "подставка для лучины" (сев.-вост.), *полденка* "ведро, в которое доят корову" (сев.-зап.), *снаряда* "одежда" (вост.) и др.).

Однако отрицательным моментом во многих исследованиях был дифференциальный подход к лексикографическому освоению диалектной лексики, поскольку априори принималась презумпция повсеместного распространения литературной лексики. Это отсутствие литературной лексики в большинстве диалектных словарей не позволяло выявить ареалы литературных слов и тем самым определить направление диалектных потоков в истории литературного словаря.

Между тем публикация первого лексико-словообразовательного тома Общеславянского лингвистического атласа, а также выход в свет пяти

томов "Лексического атласа белорусских народных говоров" показали, что "презумпция распространения литературной лексики оказывается справедливой далеко не для всех слов литературного языка, достаточно широкий круг слов литературного языка оказывается связанным с определенными диалектными ареалами" (Толстая С.М. Диалектные ареалы литературных слов // *Dialectologia slavica*. 1965). Это положение прекрасно иллюстрируют карты "Лексического атласа белорусских народных говоров", на которых нередко отчетливо обнаруживаются две крайние ситуации, а именно: "полное отсутствие или спорадичность литературного слова на диалектной карте и повсеместное, практически не ограниченное распространение слова, при котором другие диалектные лексемы оказываются лишь вкраплениями" (Толстая. Указ. соч.).

Что касается русских говоров, то лингвистическая география пока не располагает лексическим атласом такого масштаба. Однако работа над ним уже началась, и системный подход, положенный в его основу, предполагающий "равное внимание к любому члену диалектного различия, независимо от того, представляет ли он собственно диалектную лексическую единицу или же слово, входящее одновременно в состав литературного языка и общерусского просторечия" (Попов И.А., Азарх Ю.С., Вендина Т.И. и др. Лексический атлас русских народных говоров в кругу славянских атласов. М., 1993), даст возможность в будущем не только определить границы бытования литературных слов, но и начать изучение исторически менявшихся взаимоотношений русского литературного языка с северно- и южнорусскими говорами и тем самым более глубоко проработать вопрос о диалектной основе русского литературного языка.

На современном этапе чрезвычайно ценным источником изучения ситуации в русских говорах является Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА), предоставляющий уникальную возможность рассмотреть их в общеславянском контексте. Ценность этого источника определяется еще и тем, что Вопросник его был ориентирован прежде всего на общеславянский корнеслов, что может свидетельствовать о древности выявленных сходжений. Ареальный анализ материала 1-го лексико-словообразовательного тома ОЛА "Животный мир" показал, что слова, вошедшие в русский литературный язык, также не имеют повсеместного распространения, хотя лексика, представленная в этом томе, относится к древнейшему праславянскому фонду. Так, в частности, уже на первых картах тома, посвященных названиям медведя и медведицы, видно, что в южнорусских говорах имеют широкое распространение лексемы *věd-ь-med-ь*, *věd-ь-med-ic-a* (к. № 5, 6), появившиеся здесь, по-видимому, в результате контактов с украинскими диалектами. Влиянием украинских диалектов объясняется и широкое рас-

пространение в южнорусских говорах лексемы *сьпн-о-гqz-ъ* в значении "аист" (к. № 29). Ареальные ограничения имеет и лексема *krъt-ъ*, поскольку в южнорусских говорах есть такие эксклюзивные названия крота, как *slěp-ьс-ь* и *slěp-их-ъ* (к. № 12). К таким же эксклюзивным образованиям относится название ящерицы *vert-en-ic-a*, *vert-ьн-ъk-a* (к. № 30). Все эти лексемы в севернорусских говорах имеют литературные соответствия.

Нельзя, однако, не отметить, что на картах атласа нередко прослеживается и обратная ситуация, когда ареальные ограничения в распространении лексем, вошедших в словарный состав литературного языка, присутствуют в севернорусских говорах. К таким лексемам относится название муравья, которому в севернорусских говорах соответствует диалектизм *mur-aš-ь* (к. № 41), а также муравейника *mur-av-išč-e* (к. № 42), названия чешуи и жабер рыбы, ср. *šagl-y* "жабры" (к. № 40), *klest-ъ* "чешуя рыбы" (к. № 39), название дождевого червя, ср. *ščur-ъ* (к. № 36), которое встречается, однако, в виде единичных вкраплений в чешских и словацких диалектах, и даже названия лягушки *škok-ux-a*, *škok-uš-a*, *lęg-uš-a* (к. № 31). Все эти севернорусские диалектизмы являются в большинстве своем эксклюзивными образованиями.

Наконец, следует обратить внимание на ситуацию в среднерусских говорах. Вопреки существовавшему долгое время о них представлению как о говорах, где в своеобразном котле происходил сплав диалектных черт, в них не наблюдается этого смешения диалектизмов, а имеются свои, четко очерченные ареалы диалектных лексем, сужающих распространение их литературных соответствий, ср., например, распространение их литературных соответствий, ср., например, распространение в псковских и западноновгородских говорах лексемы *sik-ax-a* "муравей" (к. № 41) и соответственно *sik-aš-nik* "муравейник" (к. № 42) или распространение только во владимирско-поволжских говорах лексемы *rut-ik-ъ* в значении "крот" (к. 12), а в псковских – лексемы *pik-al-ъ*, *pik-al-ьk-ъ* в значении "бабочка" (к. № 45) (Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Т. I. "Животный мир". М., 1988).

Это лишь единичные примеры, поскольку в Общеславянском лингвистическом атласе русские говоры представлены всего тремястами населенными пунктами. Создание Лексического атласа русских народных говоров позволит, несомненно, умножить число подобных примеров и внести коррективы в существующие представления о территориальном распределении диалектной и литературной лексики.

Изложенные факты свидетельствуют, как представляется, о существовании серьезных лакун в изучении вопроса о соотношении русского литературного языка с другими идиомами. Признание московского городского койне в качестве его диалектной базы не закрывает этого

вопроса, поскольку любое койне всегда развивается по линии обогащения своего словаря.

Обращение к изучению истории русского литературного языка с учетом тех диалектных стихий, которые оказали влияние на формирование словарного состава московского койне, поможет по-настоящему понять процесс образования московского государственного языка XVI–XVII веков, определить принципы и мотивы московской канонизации разнообразной диалектной лексики. При этом должны использоваться не только памятники письменности, но и данные исторической диалектологии русского языка. Без историко-диалектологических разысканий невозможно будет вскрыть механизм лексических взаимодействий русского литературного языка и народных говоров. Понятно, что в этом контексте особое значение приобретает развитие диалектологии, поэтому существующая сегодня инерция негативного отношения к изучению русских диалектов (особенно в педагогических вузах, следствием чего является сворачивание курса диалектологии, отмена диалектологической практики) должна быть преодолена как мешающая поступательному движению русистики вперед.

Следует вспомнить опыт преподавания Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского, А.А. Шахматова, К.Д. Ушинского, призывавших к изучению диалектного слова и его роли в истории русского литературного языка. Это не только "введет учащегося в мир народной мысли, народного чувства, народной жизни и народного духа" (Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. М., 1964. Т. 2), но и возродит интерес к изучению диалектов, повысит их ценность как памятника нашей культуры и истории. "Только так мы сможем привить любовь к своему отечеству, – писал Шахматов, – уважение к его прошлому, а также веру в его будущее" (Шахматов А.А. Цит. по Хрестоматии по методике русского языка. М., 1982).



**Топонимический словарь
Центральной России***

*Г.П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук*

Орёл (1564 или 1566). Город, центр Орловской области. Основан в царствование Ивана Грозного как крепость на южных границах Русского государства. Название дано по реке Орёл (до XVIII века – *Орёл*; в XVIII – *Орёл* и *Орлик*; после XVIII века – до наших дней – только *Орлик*). В основе названия, по легенде, якобы слово *орёл*. В то

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6.

время, когда собирались строить город, эта птица прилетела и села у впадения речки в Оку. Там и решили заложить город, назвав его по птице *Орёл*. Легенда нашла свое отображение в гербе города, который был утвержден в 1779 году. Если бы город был назван по орлу, то по правилам русского языка название имело бы форму *Орловый* или *Орлиный*. К тому же, название *Орёл* первоначально относилось не к городу, а к небольшой речке, на которой он был основан, и речка должна была бы называться *Орловка*, *Орловая* и т.п., а не *Орёл*. Более реально сблизить этот гидроним с названием *Орель* (л.пр. Днепра), который упоминается в русских летописях как *Орель*, *Ерель*, *Угол*, *Угол-река*, а в Ипатьевской летописи (под 1183 г.) дан по существу перевод этого названия на русский язык: *Ерель*, "его же Русь зовет Уголь", т.е. это река, образующая угол, развилку при впадении в Оку. Вероятно, название тюркоязычного происхождения. В основе его корень *айыр*, известный во многих тюркских языках, например, в башкирском *айыр* "развилка", *айырылыши* "перепутье", "развилка дороги" и др. Этот признак – образование развилки, угла при впадении одной, как правило, меньшей реки в другую, часто становился основой названия последней. Ср. русские *Рассоха*, *Россошь* и т.п. Не исключено, что в основе названия русское диалектное *рель* (*релка*) "возвышенное место, холм, бугор" с развившимся диалектным гласным в начале – *орель*. В.Н. Топоров считает этот гидроним балтийским (Балтийский элемент в гидронимии Поочья. I).

орловцы, орловец, орловка и орловчәне, орловчанин, орловчанка
орловский, -ая, -ое

Орловцы-безменщики. Это прозвище отражает одно из занятий орловцев – торговлю в разнос, с безменом (ручные весы).

Орёл да Кромы – первые воры, да и Карачев на поддачу. Речь идет о том, что Орёл и сто округа в XVI веке были местом скопления и укрытия государственных преступников-воров, как их тогда называли. См. *Кромы*.

Орехово-Зуево (1917). Город в Московской области. Образован путем соединения нескольких сел, в частности – Орехова и Зуева. Как считают краседы, название *Орехово* дано селу потому, что оно было основано у ореховой роци, у орешника (ореха). Известно с XVII века как погост *Арехов* (*Орехов*) при церкви. Название *Зуево* (в прошлом *Зуевка*) антропонимического происхождения. В его основе русское диалектное слово *зуй* "бойкий человек, выскочка" или "хитрец, плут", широко известное в русских народных говорах. Фамилии (прозвища) *Зуй*, *Зуйко*, *Зуев* были широко распространены уже в XV–XVII веках (Веселовский. Ономастикон).

ореховозуевцы, ореховозуевец и ореховцы, ореховец
ореховозуевский, -ая, -ое

Орша. Рабочий поселок в Тверской области. Название обычно анализируется как параллель к гидрониму *Орша* – правому притоку Днепра. Исследователи приводят такие варианты гидронима: летописные *Рша*, *Ръша*, *Ршъ*; украинский *Ирша*. Это обстоятельство дает основание видеть в *Орша* протетическое *о* и корень *рш*. Так считали академики А.А. Шахматов (Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919) и А.И. Соболевский (Русско-скифские этюды // ИОРЯС. Л., 1924. Т. 27). В.Н. Топоров и О.Н. Трубачев видят в этом названии первоначальный корень *Rus, соотносящийся с балтийскими гидронимами: литовским *Rusnė*, древнепрусским *Russa*, *Russe*, *Russin* и др. (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья). Они же, исходя из литовского глагола *rusėti* "медленно течь", связывают с ним гидроним *Орша*. Подобное объяснение имеет и исследуемый нами топоним. Не исключается связь *Орша* с гидронимами *Росана* и *Оршинка*. Менее вероятно его соотнесенность с *Ржев* и *Ржавец*.

бршинцы, бршинец

бршинский, -ая, -ое

Осёлок. Деревня в Нижегородской области. Поблизости села Красный Осёлок и Высокий Осёлок. Название несомненно происходит от диалектного *осёлок*, известного в разных значениях, в частности, "место, где раньше было поселение", "непаханое поле", "запущенная пашня на высоком месте", "поляна в лесу" в говорах Владимирской и Московской областей (СРНГ. Вып. 23).

Оскёл. Река, левый приток Северского Донца. Происхождением этого названия занимались многие специалисты, начиная с А.Х. Востокова. Существует несколько версий о его происхождении разной степени аргументированности и достоверности. И.И. Срезневский, а вслед за ним и М. Фасмер (с определенной долей сомнения) видели в нем старославянское слово *оскол* "скала". А.А. Потехина соотносил его с польским диалектным названием *Oskola*. А.И. Попов связал названия *Оскол* и *Ворскла* (*Ворскол*), видя в них такую же пару, как реки *Ломов* – *Норломов*, где *нор* (*нар*) мордовское "луговой, полевой". Наиболее перспективным было предположение А.Х. Востокова о соотнесенности гидронима *Оскол* с другими, имеющими исход на *к-л*, *г-л*: *Оскол*, *Ворскла*, *Деркул* и др. (В[остоков]. А. [Х.]. Задача любителям этимологии // Санкт-Петербургский вестник. СПб., 1812. № 2). Это предположение впоследствии уточнил О.Н. Трубачев и в определенной степени развил Е.С. Отин. Аргументированную версию о происхождении гидронима *Оскол* представил И.Г. Добродомов (*Оскол* // Русская речь. 1986. № 2). Он считает, что вторая часть названия (*Ос-кол*) *кол* – это "бродячее" слово, широко представленное в языках Северной Евразии в первую очередь в значении "река": маньчжурское *голо*, монгольское *гол*, бурятское *гол*, калмыцкое *пол* и др., а также в значении "русло, долина

реки", "стержень, основа" и "что-л. протяженное, протянувшееся" (между двух рек, долин и т.д.). Первую часть гидронима *Ос* он отождествляет с названием ираноязычного народа аланов – *ас* (в русск. источниках *яс* с развившимся *j* перед начальным ударным *а*). Это значит, что *Оскол* – река ясов, ясская река, что свидетельствует о проживании этого народа в долине Оскола. По мнению И.Г. Добродомова, название реке дали тюрки, бывшие соседями ясов-аланов, поскольку апеллятив *gol* "река, долина" связан с тюркскими языками, а на "иранско-аланской почве не прослеживается". Относительно украинских топонимов с начальным *Ос-* (*Осів, Осівка, Осова* и др.), которые пытаются связать с аланским этнонимом *ас*, он высказывает сомнение из-за недостаточной изученности этого вопроса.

оскóльский, -ая, -ое

Оскóл Новый (1647). Город в Белгородской области. Первая часть названия – по реке Оскол, на которой стоит город. *Новым* назван по отношению к существующему другому городу Оскол. Первое название Нового Оскола – *Царев Алексеев* город. Так он был назван при основании его в 1655 году.

оскóльцы, оскóлец

оскóльский, -ая, -ое и новооскóльский, -ая, -ое

Оскóл Старый (1593). Город в Белгородской области. В основе названия гидроним *Оскол*; первоначально город назывался *Оскол*, переименован в 1647 году в связи с основанием *Нового Оскола*. Такие пары топонимов со *Старый* – *Новый* или *Верхний* – *Нижний*, *Большой* – *Малый*, *Сухой* – *Мокрый* (последняя преимущественно для гидронимов), широко известны в русской, да и шире – в славянской топонимии. Этот факт в свое время был обнаружен и исследован В.А. Никоновым и вошел в топонимику как "закон топонимического ряда".

оскóльцы, оскóлец

оскóльский, -ая, -ое и старооскóльский, -ая, -ое

Оста́шков (1770). Город в Тверской области. В основе названия личное мужское имя *Осташок* (от *Остах* из *Евстафий*) или фамилия *Осташков*. Это имя греческого происхождения, в русском языке оно имеет много вариантов, от которых часто образовывались топонимы: *Останя*, *Останок* (*Останкино* в Москве), *Астах* (станция *Астахово*, где умер Лев Толстой) и др.

оста́ш, оста́ш и оста́шковцы, оста́шковец

оста́шковский, -ая, -ое

Осташи – *ершееды*. Это значит, что чаще всего они употребляют в пищу рыбу (ерша).

Осташи – *золотошвеи*, т.е. мастера, расшивающие золотыми нитями одежду и головные уборы.

Острóв (1342)*. Город в Псковской области. В основе названия

апеллятив *остров*, т.к. город был основан на труднодоступном острове в русле реки Великой. Топоним *Остров* и производные довольно широко известны на территории России и за ее пределами: села *Остров* (под Москвой), *Островное* в Магаданской области, деревни *Остров*, *Островки*, *Островно* в Ленинградской области и др.

острови́чий, острови́ч, острови́чка и острови́чане, острови́чанин, острови́чанка, *местн.* острови́цы, острови́вень, острови́нха, *устар.* острови́тяне, острови́тин; островля́не
островский, -ая, -ое

Островское (1965). Рабочий поселок в Костромской области. Название дано в честь замечательного русского драматурга А.Н. Островского (1823–1886), автора таких пьес, как "Гроза", "Доходное место", "Лес" и др., родившегося и проводшего детство в этих местах. Фамилия *Островский* известна с 1615 года (Веселовский. Указ. соч.).

островча́не, островча́нин и острови́цы, острови́вец
островский, -ая, -ое

Острогожск (1652). Город в Воронежской области. Название получил по *Острогожскому городищу*, на котором построен; городище же в свое время было названо по реке Острогоя (возможна и обратная зависимость), на берегу которой оно находилось. Более раннее название – *Рыбный острог* по соседнему озеру Рыбное.

острого́жцы, острого́жец, *устар.* острого́жане, острого́жанин
острого́жский, -ая, -ое

Острогоя. Река в бассейне Дона. Связывать это название со словом *острог* "изгородь, ограда; частокол из бревен, с острыми концами", "укрепленный город, поселение" невозможно, так как в этом случае оно имело бы форму *Острожка*, *Остроженка*, *Острожная* или *Остроговка*. Исключается и связь с антропонимом *Острогост*, т.к. это противоречит принципам номинации в русской гидронимии. Реальнее связать гидроним с апеллятивом *острый* "суживающийся к концу", встречающимся в русской гидронимии, и *гоща* "лес", который был важным признаком водного объекта в условиях степного характера местности, где протекает эта речка. В данном случае, вероятно, лесной массив поблизости от реки имел форму клина.

Отрадное (1970). Город в Ленинградской области. Название дано по живописной местности с дачным поселком, где люди находили отраду и отдых. Данный признак номинации довольно активен в русской топонимии, особенно в Центральной России. *Отрадное* могло быть и названием-пожеланием: жить в этом селе отрадно и радостно.

отра́дненцы, отра́дненец
отра́дненский, -ая, -ое

Охта (Большая Охта). Река, правый приток Невы. Большинство исследователей видят в этом гидрониме финское *ohio* "медведь", т.е.

Охта – Медвежья (река). *Медвежьи* гидронимы известны практически во всех регионах России. А.И. Попов (Следы времен минувших) приводит другое название этой реки – *Ахо-йоки* (*Aho-joki*), где *aho* "пожого, ляда", "паровое поле", и *joki* "река". Он считает его более поздним по сравнению с *Охта*, известному в Новгородской летописи с 1300 года. *Охта* имеет приток Малая *Охта*; название *Охта* носит один из микрорайонов Санкт-Петербурга, расположенный поблизости от этой реки. С.В. Кисловский приводит еще одно название реки *Сварта* (Знаете ли вы?)

óхтинцы и бхтенцы, бхтинец и бхтенец, бхтинка и бхтенка
бхтинский, -ая, -ое и бхтенский, -ая, -ое

Оять. Поселок в Ленинградской области. Название дано по реке *Оять*, на которой он основан. Все исследователи связывают гидроним с вепским оја "ручей" (*ojeine* "ручеек"). Дополнительным аргументом в пользу такого объяснения являются и вепские названия порогов на Ояти: *Гамач*, *Каят*, *Чур-ручей* и др. (Попов. Указ. соч.). На северо-западе России известны родственные образования от Оять: *Ojarv*, *Ojanit*, *Ojansar* и др. (Муллонен. Очерки вепской топонимии).

оятинцы и оятенцы, оятинец и оятенец
оятский, -ая, -ое и оятинский, оятенский, -ая, -ое

Продолжение следует

У истоков поэтического образа

Д.Н. МЕДРИШ,
доктор филологических наук

1. "Стой! выпала люлька с табаком..."

И при спокойном, налаженном существовании упоминание отдельных предметов быта (печи, например) подчас приобретает дополнительный смысл, закреплённый в пословицах и поговорках ("Печь нам мать родная"; "Добрая то речь, что в избе есть печь"; "Хлебом не корми, только с печи не гони"). Тем более – в быту кочевом, неустроенном, походном, когда взять с собой в дорогу можно только самое необходимое. В походной жизни символический смысл обретают такие понятия, как седло или трубка, обозначающие предмет единственный и в дороге незаменимый ("Кляча воду возит, лошадь пашет, *конь под седлом*"; "В трубочку табачку всё горе закручу"). Потеря в пути предмета, единственного для каждого человека, и её последствия – весьма распространённый фольклорный мотив.

"Трубку, лошадь и жену не отдавай никому", – гласит русская пословица. И у Гоголя в "Тарасе Бульбе" трубка (люлька) не просто вещь – это символ, причём символический смысл слова обретает всё новые оттенки по мере развития сюжета; трубка, как правило, связана в повести с дорогой – как в известной украинской песне: "А тютюн та люлька козаку в дорозі знагодиться". В начале пути Тарас обращается к сыновьям: "Ну, разом все думки к нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да прищпорим коней, да полетим так, чтобы птица не угналась за нами!" (Ср. в песне: "Та й викрешем вогню, та й запалим люльку, не журися!"). Курение трубки упоминается и в метафорическом плане; раскуривать трубку значит для казака собираться в поход: "Скажи епископу от меня и от всех запорожцев, – сказал кошевой, – чтобы он ничего не боялся. Это казаки ещё только зажигают и раскуривают свои трубки". И далее, уже в описании похода: "...у многих ничего не было, кроме рубашки и коротенькой трубки в зубах".

Потеря трубки – в финале повести – причина гибели Тараса. Уже почти пробившись казаки сквозь вражеские ряды, когда Тарас воскликнул: "Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы люлька досталась вражьим ляхам!"

Таковы реалии в "Тарасе Бульбе". Удивительно ли, что в тех произведениях, в которых действуют далёкие от идеала герои, те же, что и в "Тарасе Бульбе", детали предстают у Гоголя в пародийном

осмыслении. Так, в "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" (вместе с повестью о Тарасе Бульбе, включённой в сборник "Миргород") седло, вопреки своему назначению, запечатлённому и в поговорке ("...конь под седлом"), оказывается само по себе, без коня: "Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стремянами и истёртыми кожаными чехлами для пистолетов, чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьём и медными бляхами". Противопоставление героев двух повестей становится ещё нагляднее, если принять во внимание фольклорные параллели. В гоголевские времена бытовала шуточная украинская песня, как бы предваряющая повествование о том, как во дворе "воинственного" Ивана Никифоровича выставляли для проветривания жалкие остатки былых казацких реалий (приводим в современном правописании): "Був у мене сивий кінь, а сіделце маю..." (Паливода-Карпенко С.Д. Либретто малороссийских, польских, чешских, молдавских, болгарских, сербских и червонорусских песен и романсов репертуара малороссийского певца С.Д. П.-К. В 9 отделениях. Отд. 1-е. СПб, 1858. № 18; судя по совпадению инициалов, составитель представил свой собственный репертуар).

Что же касается табака и трубки, то этот мотив пародируется в "Мёртвых душах" – в описании "кабинета" Манилова: табак "был в разных видах: в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками".

А о потере героем в пути трубки рассказывает народный героический эпос, но не русский, а киргизский. Трубку с золотым чубуком теряет Аламбет, персонаж "Манаса". Однако при жизни Гоголя перевода "Манаса" на какие-либо языки не существовало, а потому эпизод этот никак не мог быть известен русскому писателю, и о заимствовании здесь говорить не приходится. Чутьём народного художника Гоголь угадывает эпический мотив-архетип и вводит его в своё повествование.

2. "Рукописи не горят..."

В романе Булгакова "Мастер и Маргарита" Воланд спрашивает Мастера о его романе, посвящённом Понтию Пилату: "– Я сжёг его в печке. – Простите, но поверю, – ответил Воланд, – этого быть не может. Рукописи не горят". Оставляем в стороне вопрос, почему именно Воланду – дьяволу – доверено изречение, – спектр мнений здесь чрезвычайно широк. Если В.А. Чеботарёва не сомневается в том, что за афоризмом стоит автор, что здесь выражена «вера Булгакова в силу искусства, торжество истины, в то, что "рукописи не горят"» (Чеботарёва В.А. О гоголевских традициях в прозе М. Булгакова // Русская

литература. 1984. № 1. С. 175), то Г. Круговой всерьёз усматривает в этой фразе подвох дьявола, который под видом рукописи Мастера ловко подсовывает свой, дьявольский, манускрипт (см.: Михаил Булгаков: Современные толкования. К 100-летию со дня рождения. Сборник обзоров. М., 1991. С. 97). Заметим только, что нам ближе то понимание роли дьявольской силы в романе Булгакова, которое высказал Б.Ф. Егоров в статье "Булгаков и Гоголь. Тема борьбы со злом" (см.: Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 90–95). Бесспорно одно: Булгаков здесь с Воландом согласен.

Афоризм не рождается на пустом месте. Исследователи творчества Булгакова немало сделали для того, чтобы обнаружить истоки крылатой фразы. И.Л. Галинская, например, возводит сцену из "Мастера и Маргариты" к эпизоду из жития Доменика де Гусмана, который в споре с еретиками-альбигойцами (это случилось в 1205 году) представил текст со своими доводами; однако напрасно его оппоненты бросили рукопись в огонь – пламя трижды оттолкнуло её от себя, рукопись не горела (см.: Галинская И.Л. Загадки известных книг. М., 1986. С. 111). Возможно, Булгакову был известен этот факт. И всё же речь здесь следует вести не об единичном прецеденте, а о мифологеме, вошедшей как в зарубежное, так и в отечественное культурное сознание. Так, по мере изучения творчества автора "Мастера и Маргариты" выяснилось, что знаменитая фраза подготовлена не только жизненным опытом самого Булгакова, но и творческой судьбой его любимого писателя – Н.В. Гоголя.

Известно – и это убедительно показано, прежде всего, в ряде работ М.О. Чудаковой, – что сама фигура Мастера, героя булгаковского романа, тесно связана "с биографией и личностью Гоголя (какой она предстаёт по мемуарам, письмам и проч.)", причём «само слово "мастер" было, по-видимому, для Булгакова также и гоголевским словом» (Чудакова М.О. Гоголь и Булгаков // Гоголь: История и современность / К 175-летию со дня рождения. М., 1985. С. 374). Исследовательница обнаруживает несомненную близость трёх ситуаций: сжигание Гоголем рукописи второго тома "Мёртвых душ", уничтожение Булгаковым в печи ранней редакции романа "Мастер и Маргарита" и сожжение героем булгаковского романа рукописи о Понтии Пилате, причём свидетельства мемуаристов о сожжении Булгаковым рукописи столь же разноречивы, как и воспоминания гоголевских современников. Интересны также два предположения М.О. Чудаковой, дающие представление о той мифологической дымке, которой окутан поступок автора "Мастера и Маргариты". Первое: о сожжении рукописи своего романа Булгаков сообщил в одном из писем, по-видимому, ещё до того, как это произошло в действительности; второе: некоторые подробности этого поступка в изображении мемуаристов, пожалуй, являются частью

той легенды о Булгакове, которая творилась вдовой писателя и его близкими. Создаётся впечатление, что поведение всех троих (Гоголя, Булгакова, Мастера) и его восприятие современниками восходит к какому-то архетипу, обращение к которому, возможно, откроеет дополнительный смысл, заключённый в изречении "рукописи не горят".

В этом не будет ничего удивительного: Булгаков – писатель мифологический. Сюжет повести "Роковые яйца", например, основан на том, что вместо куриных яиц задействованы и обработаны чудесным лучом были змеиные, и вылупившиеся гады едва не погубили своих благодетелей, да и всю страну заодно. Е. Неёлов обнаруживает здесь перекличку с фольклором, русским и украинским: по народным поверьям, из яйца, снесённого чёрной курицей (или петухом старше семи лет), колдуньи выводят змей (см.: Неёлов Е. Шариков, Швондер и единое государство: О фантастике Булгакова и Замятина // Булгаков М. Собачье сердце. Роковые яйца. Похождения Чичикова. – Замятин Е. Мы. Петрозаводск, 1990. С. 377). Добавим, что сходные легенды широко известны многим народам, и там они, уже с самых древних времён, тоже "про-растали" в литературу. Ограничимся одним текстом:

«Курица и ласочка

Курица нашла змеиные яйца, бережно их высидела, и они треснули. Увидела это ласочка и сказала ей: "Глупая! Зачем вырастила ты таких детёнышей, которые, чуть подрастут, тебя же загубят первую!"

Так никакие благодеяния не могут укротить дурной нрав.

Близость фабул этой басни (впервые переведена на русский язык в 1607 году) и булгаковской повести несомненна. Различие разве лишь в том, что во времена Эзопа не было ни совхозов, ни инкубаторов.

"Эзопов язык" присущ и "Мастеру и Маргарите". Видимо, рамки наблюдения следует расширить, и тогда окажется, что история известного афоризма гораздо обширнее и во времени, и в пространстве. Здесь мы также обнаруживаем перекличку – вольную или неосознанную – с давней мифологемой, знакомой русской культуре на протяжении не одного столетия. Мотив испытания огнём встречается и в апокрифах, и в русских духовных стихах, в том числе и самых старинных. Особенно любим он был раскольниками. Ведь "для русского сознания середины XVII века праведник шёл в огонь не для гибели. Поп Лазарь на соборе даже предлагал никонианам пройти с ним вместе через огонь, то есть судиться Божим судом. Предполагалось, что правый выйдет из огня невредимым" (Плюханова М.Б. О некоторых чертах народной эсхатологии в России XVII–XVIII веков (Статья вторая) // Учён. зап. ТГУ. Вып. 645. Тарту, 1985. С. 61). Это представление распространилось и на книги; их погружение в огонь рассматривалось как своеобразное испытание. В доказательство истинности старообрядческой веры дьякон

Фёдор Иванов ("соузник" неистового протопопа Аввакума, сожжённый вместе с ним 14 апреля 1682 года) ссылаясь на рассказ келаря Троицкого монастыря Арсения Суханова о его поездке на Афон в 1649–1650 годы. Сообщалось, что на Афоне пытались сжечь старые русские книги, однако они в огне не горели. Примечательно также, что в переписке Аввакума с его сторонниками один из самых ярких его противников – гонитель старой веры стрелецкий полуголова Иван Елагин именуется не иначе, как Понтий Пилат. В свете этих фактов становится понятнее, какие рукописи не горят и почему они не горят.

Перечень отголосков этой традиции в русской литературе можно было бы расширить и в другую сторону, и тогда, вслед за соратниками Аввакума, вслед за Гоголем и наряду с Булгаковым, уместно было бы вспомнить Анну Ахматову, у которой в стихотворении "Сон" (цикл "Шиповник цветёт. Из сожжённой тетради") читаем:

И вот пишу, как прежде, без помарок,
Мои стихи в сожжённую тетрадь.

В этой связи может быть упомянут и "Сожжённый роман" Я.Э. Голосовкера (см.: Дружба народов. 1991. № 1).

Таким образом, имеются все основания говорить об архетипе, существовавшем в народнопоэтическом сознании на протяжении веков, прежде чем он обрёл новую жизнь в романе Булгакова, воплотившись в афоризм: "Рукописи не горят".

Волгоград



Мясопуст и мясоед

А. В. ЗЕЛЕНИН.

кандидат филологических наук

Когда-то без этих слов не обходилась речь ни университетского профессора, ни неграмотной крестьянки. Церковные термины были вплетены в язык всех сословий: «Невольно вспоминается русская широкая масленица, или "сырная неделя", бывавшая в начале зимнего перелома к весне. Эта сырная неделя по церковной терминологии именовалась "мясопуст", т.е. полное воздержание от мясной пищи как подготовка к суровым дням Великого поста» (Телешов. Записки писателя); "На Рождество привозили с Сенной [площадь в Санкт-Петербурге. – А.З.] говяжьих и свиных туш, разрубали на части и солили на весь мясоед" (Скабичевский. Из воспоминаний о пережитом).

Сейчас, когда возрождается интерес к дореволюционному прошлому России, а многие явления, связанные с церковными обрядами, возвращаются в нашу жизнь, все чаще можно слышать и эти слова. Но положение их в системе языка изменилось, хотя само понятие осталось прежним.

Недавно довелось услышать, как одна журналистка, употребив слово *мясопуст*, пыталась его истолковать следующим образом: мясопуст так называется потому, что в пище нет мяса и она "пустая" (т.е. постная, не содержащая животных жиров). Большинство людей так и думает, пытаясь понять смысл слов *мясопуст* и *мясоед* из их внутренней формы. Заглянем в словарь: "**Мясопуст**, -а, м. Церк. 1. День, когда по уставу православной церкви запрещается употребление мясной пищи. 2. Неделя перед великим постом; масленица" (Словарь русского языка в 4-х т. М., 1980. Т. II); "**Мясоед**, -а, м. Период, когда по уставу православной церкви разрешается мясная пища" (там же). Сейчас нам кое-что стало яснее: *мясоед* – термин церковного обихода, жизни верующего и назван так потому, что в пище допустимо мясо. Значение этого слова легко выводится из его внутренней формы. Если следовать той же логике, то *мясопуст* так называется потому, что в это время употребляют пищу, не содержащую мяса, т.е. "пустую", постную... С некоторой натяжкой можно, конечно, принять такую версию.

Действительно, как тут не вспомнить, например, выражения *пустые щи* (щи без мяса) или *пустой чай* (чай без сахара или сладостей). Очевидно, сознание сближает слова *пустой* и *постный*, и развитие у слова *пустой* значения "приготовленный без мяса, жиров" произошло под влиянием именно слова *постный*. Еще более позднее значение, "не содержащий сахара" или "употребляемый без сахара, сладостей" у слова *пустой* в выражении *пустой чай*. Вообще сама форма *пустой* – это народно-разговорный вариант, вытеснивший славянизм *пустый*. В Словаре Академии Российской 1822, 1847, 1867 годов можно найти только форму *пустый* – причем там нет значения "постный; не содержащий жиров, приготовленный без жира". Впервые форма *пустой* отмечается только в 3-м издании Словаря Даля в 1907 году, и там же впервые фиксируется выражение *пустые щи* (= *постные щи*). Сейчас форма *пустый* воспринимается как устарелая и книжная, но еще 100 лет назад картина была другая.

Очевидно, истолкование слова *мясопуст* при помощи слова *пустой* (или даже *пустый*) в значении "постный" – это пример народной этимологии, хотя такое объяснение можно найти даже в этимологической литературе (например, в: Brukner A. Słownik etymologiczny języka polskiego). Но с церковными терминами нужно быть очень осторожным, потому что они, как правило, в русском языке существуют много столетий и претерпели немало изменений. В церковном термине откладывались иноязычные и насаивались языковые и культурные представления других славянских языков, в которых был впервые употреблен.

Мясопуст и *мясоед* обозначают противоположные понятия. Во время мясопуста употребление мяса в пищу запрещено вообще, но разрешены

молочные продукты (творог, молоко, масло), а во время мясоеда разрешено и мясо.

Противоположность понятий "мясопуст" и "мясоед" является на фоне другого термина церковного и народного языков – словосочетания *масленая неделя* (*масленица, масленая*), или – по церковной терминологии – *сырная неделя*, когда разрешается употребление только молочных продуктов. Но вместе мясопуст и мясоед имеют смысл только в связи с постом. Именно такая включенность понятий "мясопуст" и "мясоед" в различные смысловые отношения и определила их историю в русском языке.

В древнерусских текстах слово *мясопуст* и выражение *мясопустная неделя* впервые употребляются в Остромировом евангелии (1057 год), где слово *мясопуст* используется в значении "последнее воскресенье недели, после которого запрещалось употреблять мясную пищу". В словосочетании *мясопустная неделя* слово *неделя* представлено в значении "воскресенье, последний день недели", т.е. в собственно русском значении. В Остромировом евангелии *мясопуст* и *мясопустная неделя* равны по смыслу, но словосочетание создано с опорой на русское значение слова *неделя*.

Мясопуст можно обнаружить и в других славянских языках: *месопуст* "начало поста" (болг., сербохорв.), *mesopust* "канун поста" (словен.), *masopust* (чеш.), *mięsopust* (польск.) "карнавал, неделя перед Великим постом".

Этимологи полагают, что слово *мясопуст* (польск. *mięsopust*) – калька с латинского *karnisprivium* и значит "прекращение употребления в пищу мяса". Польский этимолог А. Брюкнер считает, что *mięsopust* в польском языке было перенесено позднее и на время перед Великим постом и стало синонимом *zapusty* (масленая неделя), а с XVIII века – слова *karnawal*. Оно пришло в польский язык из французского, но в конечном итоге восходит к латинскому слову *carne levare* "перестать есть мясо". По его мнению, оба слова – *zapusty* и *mięsopust* – образованы от прилагательного *pusty* "пустой" (Brukner A. Указ. соч.).

Словом *мясопуст* в старославянских текстах передавали и греческое *apokreos* (*apo* – нет, не, без; *kreos* – мясо; буквально – "без мяса, нет мяса") и *tessarakosti* (*tessarakostos* – "сороковой") в значении "сорокадневный (Великий) пост". В русском языке сохранилось и другое название-калька с тем же значением: *четыредесятница* – буквальный перевод греческого *tessarakosti*. Очевидно, это было связано с непонятностью внутренней формы слова *мясопуст* во всех славянских языках (*mięsopust, mesopust, masopust* и т.д.), поэтому и появляются позднейшие замещения этого слова, например, в польском – *karnawal*, в русском – уже упомянутое *четыредесятница*.

Может возникнуть вопрос: почему же слово *мясопуст* было переведено не с греческого, а с латинского языка, ведь латинский обслуживал католиков? Потому, что в IX–X веках – время первых переводов богослужебных книг на славянские языки – между католичеством и православием открыт раскол еще не произошел. Это было позднее – в 1054 году. Поэтому переводы с латинского в западно- и югославянских землях за век–два до разделения церквей не считались еретическими.

Разделение христианства на две ветви – православие и католичество – завершилось в середине XI века. Папа Римский Лев IX и Константинопольский патриарх Керуларий предали друг друга анафеме. Официальной датой разделения церквей принято считать 1054 год. После этого высшие священнослужители (иерархи) восточной церкви стали особенно активны в отстаивании "истинной" православной веры (само название *православие* родилось из фрагмента молитвы "правильно славим Господа Нашего, Иисуса Христа") и утверждении об "отпадении" католиков от христианских догматов. Сочинения против "латинян" были очень популярны в древнерусской письменности.

Неделю накануне Великого поста и сам Великий пост славянский переводчик пытался осмыслить, исходя из ведущего признака: запрета на употребление мяса. Но смысл слова *мясопуст* часто понимался слишком широко: это мог быть или последний день, после которого мясо запрещается, или даже сам сорокадневный Великий пост. Кроме того, вторая часть слова *мясопуст* также была неясна и понималась неоднозначно даже образованными людьми (от прилагательного *пустый* или глагола *пустить*?). В истории этого термина есть очень интересный эпизод.

В 1104 году из Константинополя в Киев занять кафедру митрополита Русской земли был послан Никифор, грек по национальности. В одном из своих сочинений Никифор употребил (или так перевел русский переводчик, услугами которого митрополит пользовался) слово *мясопуст* в соседстве со словом *маслопуст*: "[Латиняне] в первую неделю [Великого] поста [с понедельника до среды] мясопуст и маслопуст вместе совершают и потом, постясь [в четверг и пятницу], в субботу и воскресенье едят яйца, и сыр, и молоко" (Послание митрополита Никифора Владимиру Мономаху, конец XI–начало XII века). Здесь *мясопуст* и *маслопуст* имеют значение "допущение, разрешение в пищу мяса или масла", т.е. вторая часть слов *пуст* явно произведена от глагола *(до)пустить*. В полемических целях в тексте создано слово *маслопуст* по модели *мясопуст*. Такие слова в лингвистике называются потенциальными словами: они создаются по уже известным моделям, но по случаю, в разовых целях и обычно обладают значительной степенью экспрессивности.

Двойственность понимания слова *мясопуст* в древнерусском языке приводила к тому, что появлялись его варианты. Например, в Лаврентьевской летописи в записи под 1175 годом можно встретить форму *мясопук*: "Венчался с нею... месяца генваря в третий день мясопукатъ недели во вторник". Здесь *мясопук* – производное от *мясо* + *допукать* и по смыслу равно понятию "мясоед", т.е. идет расшатывание внутренней формы неясного по смыслу церковного термина.

В современном чешском языке слово *masopust* сохранилось, причем в двух значениях: старом – "запрет на употребление мясной пищи" и новом – "разрешение на употребление мясной пищи; мясоед". В современном болгарском языке *мясопуст* заменен на *месница* "заговенья перед масленицей", в белорусском – *пост*, *посны дзень*, *масленица*, в украинском – *пуцення*, *мясниця*. Очевидно, что все славянские языки искали эквивалент термину *мясопуст*, используя для этого слова народного языка.

Что такое мясопуст, например, для монахов? Вот одно из описаний, относящихся к XVII веку: "В понедельник на мясопустной недели на братию: щи да каша со сметками да рыба севрюга, квас простой" (Столовый обиходник... Новоспасского монастыря. 1648 г.).

Если есть *мясопуст* – запрет на употребление мяса, то как назвать время, когда мясо можно есть? В переводных книгах Древней Руси для обозначения понятия "разрешение есть мясо" известно слово *мясоядение*, но только для того, чтобы обозначить "инострannую" (нехристианскую) реалию: "[У брахманов] нет... ни вина, ни мясоядения" (Хроника Георгия Амартола. XI в.). Понятно, что слово *мясоядение* здесь также может быть названо только словом по случаю; у него еще нет реального языкового значения, а есть только речевое, в конкретном тексте.

С XV века меняется статус этого слова в языке, оно приобретает другую форму – *мясоястие* и уже вполне реальное языковое содержание: "Рождество Христово в субботу, мясоястия 6 недель и 2 дня" (Грамота новгородского архиепископа Геннадия. 1492 г.). Обозначение времени, когда разрешено мясо, вполне насущная для церкви проблема, поэтому архиепископ Геннадий и использует уже знакомое слово *мясоястие*, но в терминологическом значении. Сейчас мы назвали бы этот период *мясоедом*.

В народном языке *мясоедом* называли любителя мяса, так что это слово превратилось сначала даже в прозвище, а затем в фамилию: "А на то послухи [т.е. свидетели]: Шадра Борисов сын Елдегина, да Мясоед Шумов сын Елдегина" (Акты юридического быта древней Руси. 1526 г.). К этому времени относятся и первые употребления слова *мясоед* в том же значении, что и *мясоястие* "период времени, когда по уставу православной церкви разрешается мясная пища": "А свадьбе по-

велел быть на этом мясоеде" (Акты исторические. 1547 г.); "И в прочие дни совсем не поют молебнов ни в пост, ни в мясоед" (Арсений Суханов. 1653 г.).

В XVII веке появляется прилагательное *мясоедный* "относящийся к мясоеду, бывающий в мясоде": "И с тех пор царь Леонтий в мясные дни и в праздники Христовы... и на всеедной недели и во все мясоедные дни рыбы и молоко не ест" (Посольство Елчина. 1640 г.). Характерно, что слово *мясоед(ный)* употребляется в путевых заметках, исторических актах и т.п., но не в церковных книгах, потому что оно несет печать обиходного, разговорного языка.

Понятие "мясоед" существует в других славянских языках: *месници* (болг.), *мясницѣ*, *мясницѣ*, *мясниченьки*, *мясниченьки* (укр.), *мясаед*, *мясает*, *місает*, *мясницы*, *мясницѣ* (блр.), *месоједе* (сербохорв.). Встречается оно и в русских диалектах: *мясоведь* (Псков., Смоленск. – от слов *мясо* + *ведать* – знать), *мясоведица* (Псков. – по аналогии со словом *масленица*), *мясоведье* (Псков., Тверск. – по аналогии со словом *заговенье*), *мясницы* (в южнорусских говорах – влияние украинского языка).

Есть внутреннее родство русского *мясоед* и сербохорватского *месоједе* и, возможно, слово *мясоед* пришло из сербохорватского, потому что русские диалектные формы основываются на другом глаголе: не *есть*, а *ведать* "знать".

После того как в русском языке к XV–XVII векам сформировалось терминологическое значение слова *мясоед* "допущение мяса в пищу", *мясопуст* изменило (сузило) свое значение. Прежде *мясопуст*: 1. Допущение мяса в пищу (нетерминологическое, неспециальное значение); 2. Воскресенье перед масленицей; мясное заговенье; 3. Великий пост; пост вообще (два последних значения являются принадлежностью церковнославянского языка). К XVIII веку в словари церковных терминов *мясопуст* попадает в одном значении: "день, с которого по уставу церковному престаем есть мясную пищу; попросту заговенье" (Алексеев П. Церковный словарь. 1794). Слов *мясопуст* вследствие его неясной этимологии и отсутствия строгой терминологичности в церковных книгах распалось на ряд обозначений: *мясоятие* (позднее – *мясоед*) и *заговенье*, более точных и ясных. Термин *мясоед* принял на себя значение "употребление мяса в пищу в определенные дни церковного календаря".

Слово *заговенье* (от глагола *(за)говети(ся)* "начать поститься") в русских текстах встречается с XIV века. Именно с этим словом связывались представления о начале поста. Правда, всегда уточняли, какое это заговенье: *великое* (накануне Великого поста), *мясное* (воскресенье перед масленицей), *масленное* (воскресенье масленицы) и т.д. Поэтому слова *мясопуст* и *заговенье* пересеклись в общем значении "канун, по-

следний день перед постом". Но у слова *заговенье* прозрачная внутренняя форма в отличие от неясной и противоречивой у *мясопуста*. Поэтому слово *заговенье* расширяло сферу употребления, а слово *мясопуст* оставалось принадлежностью только книжного (пассивного) языка.

Словари по-разному показывают значения слова: *мясопуст* (*мясопустный*) толкуется как "мясное заговенье, канун масленицы" (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. II), т.е. только в узкоцерковном значении. Но словари, вышедшие в XX веке, дают еще одно – "неделя перед Великим постом; масленица".

Во время мясоеда разрешена мясная и молочная нища, за исключением постных дней – среды, пятницы, а также в некоторые другие дни, например, в день Воздвижения, в день Усекновения головы Иоанна Предтечи и под. В христианстве среда и пятница связывались с представлениями о том, что в эти дни Иисус Христос претерпел особенно сильные мучения.

В зависимости от времени года мясоед называется *Рождественским*, или *большим* (длится от Рождества до Великого поста). Это время считалось в народе наиболее благоприятным для свадеб: "Свадеб венчалось много, особенно в мясоед перед масленицей" (Мельников-Печерский. Очерки поповщины). Обычно во время мясоеда молодые пары сватались. Но не всегда удачно. Бывало, что парню так и не удавалось посвататься и справить свадьбу. В народе родилась по этому поводу поговорка: *Бился, колотился, мясоед прошел, а все не женился*.

Осенний мясоед начинается в конце августа и длится до конца ноября. В октябре и первой половине ноября также справлялись свадьбы. Во-первых, урожай к этому времени собран, во-вторых, на 14 октября (1 октября по старому стилю) приходится церковный праздник Покрова Богородицы – покровительницы свадеб и молодоженов.

От Пасхи до Петровского поста (12 июля по новому или 29 июня по старому стилю) длится *цветной мясоед*, получивший название от Цветной триоди-церковной книги, читаемой после Пасхи. В "Домострое" – памятнике древнерусского быта – так говорится о летнем Успенском мясоеде: "В Успенский мясоед к столу подают лебедей да потроха лебязий, журавлей, цапель, уток, грудинку баранью с пряностями на вертеле, языки на вертеле, вырезку говяжью на вертеле, потрошки свиные, курятину заливную, отвары куриные, говядину, свинину заливную, юрмы, лосину, солонину с чесноком и пряностями, зайчатину в латках, зайчатину с репой, зайчатину заливную, кур на вертеле, печень баранью белую с перцем и с шафраном, говядину вяленную, колбасы, желудки, ветчину, рубцы, кишички, кур вяленых, карасей, кундумы, шук".

Итак, в русской церковной традиции существовало три больших мясоеда: *зимний*, *летний* и *осенний*. Но в церковном календаре мясоед (скоромные дни) по количеству дней все же уступает мясопусту (дни поста), который составляет в целом около 200 дней в году.

В истории двух церковных терминов *мясопуст* и *мясоед* переплелись церковно-книжная и народно-бытовая традиция. За каждым термином – конкретная картина жизни народа и его языковых традиций.

Санкт-Петербург



Как и почему празднуют трусу?

Памяти Н.А. Мещерского

Т.А. ИВАНОВА,
кандидат филологических наук

Стихотворение Н.А. Некрасова "Как празднуют трусу", полное самоиронии лирического героя, безупречно точно раскрывает читателю смысл фразеологизма, вынесенного поэтом в заглавие: *праздновать трусу* (в XX веке *труса*) означает "трусить, бояться", иногда без должных к тому оснований. Воистину у страха глаза велики! Приведем это замечательное стихотворение полностью:

Время-то есть, да писать нет возможности,
Мысль убивающий страх:
Не перейти бы границ осторожности –
Голову держит в тисках!

Утром мы наше село посещали,
Где я родился и взрос.
Сердце, подвластное старой печали,
Сжалось; в уме шевельнулся вопрос:

Новое время – свободы, движенья,
Земства, железных путей.
Что ж я не вижу следов обновленья
В бедной отчизне моей?

Те же напевы, тоску наводящие,
С детства знакомые нам,
И о терпении новом молящие
Те же попы по церквам.

В жизни крестьянина, ныне свободного,
Бедность, невежество, мрак.
Где же ты, тайна довольства народного?
Ворон в ответ мне прокаркал: "Дурак!"

Я обругал его грубым невежею.
На телеграфную нить
Он пересел. "Не донос ли депешью
Хочет в столицу пустить?"

Глупая мысль, но я, долго не думая,
Метко прицелился. Выстрел гремит:
Падает замертво птица угрюмая,
Нить телеграфа дрожит...

(Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем. В 15 т. М., 1982. Т. 3. С. 173).

Вместе с тем относительно происхождения этого фразеологизма высказывались различные предположения, ни одно из которых не является в настоящее время общепризнанным. Так, еще в 1832 году И.М. Снегирев в своем сборнике русских пословиц дал историческое объяснение этого фразеологизма. "В день Казанской Богоматери (22 окт. 1612 г.), – писал И.М. Снегирев, – Пожарский с Мининым храбро напал на Струса, предводителя поляков, которые **струсили** и оставили Москву победителям, или как говорится: **трусу праздновали**" (Снегирев И. Русские в своих пословицах. М., 1832. Кн. III). В наше время это объяснение получило отражение, например, в книге И.А. Уразова "Почему мы так говорим" (М., 1962. Сер. II).

Однако еще в XIX веке подобное объяснение подверглось критическому пересмотру. Так, известный этнограф и писатель С.В. Максимов, упрекая своих предшественников за историческое толкование ряда поговорок (*кондрашка хватил, снявши голову по волосам не плачут, меж двух огней*), заметил: "С такими усердными разысканиями, основанными на легкой подозрительности, можно дойти до сомнительных толкований (и это на лучший конец), если не до простой и бесцельной забавы (на худший): "Праздновать трусу" – не какому-нибудь злему духу (или подчиняться беспокойному, неестественному настроению души), а уподобиться польскому полковнику Струсю, которого разбил на голову Минин с Пожарским 22 октября 1612 г." (Максимов С.В. Крылатые слова. М., 1955).

Таким образом, отвергая историческое объяснение И.М. Снегирева, сам С.В. Максимов был склонен считать, что устойчивое словосочетание *праздновать трусу* возникло на основе словосочетания *праздновать кому (чему)*. В этом он следовал за В.И. Далем, который в Толковом словаре живого великорусского языка поместил *праздновать трусу* после "*кому, какому святому ныне празднуют? Чему, какому событию ныне празднуют?*" (Т. III).

Действительно, словосочетание глагола *праздновать* с дательным падежом имени (кому, чему) было широко распространено в русской

письменности и оттуда проникло в народные говоры. Ср. "Праздновали святому пророку Илье" (Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 18), а также "царица праз(д)новала преподобному Сергию" (Забелин И. Дополнения к дворцовым разрядам); "Его Величество праздновал взятью Нарвскому" (Походн. журнал 1720 г.), (Картотека СРЯ XI–XVII вв. Института русского языка им. В.В. Виноградова).

В дальнейшем, развивая мысли своих предшественников, сходным образом объяснял эту поговорку М.И. Михельсон. Приведя толкование И.М. Снегирева, он заметил: «Не правильное ли объясняется выражение "трису праздновать" (как и "лытусу праздновать") словом "праздновать": празднуют святому, чувствуя его, поклоняются ему. Нарицательные "трис" и "лыток" олицетворяются "трусом" и "лытусом", которым боязливые поклоняются» (Михельсон М.И. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. СПб., 1903. Т. II).

Не ссылаясь на своих предшественников, принял подобное объяснение и Б.А. Ларин. Формулируя условия, «какими определяется закономерность развития фразеологических стереотипов из переменных ("свободных") словосочетаний», и отмечая в качестве одного из них "изменение грамматической формы предложения" в связи с общей эволюцией грамматической системы языка, он писал: «Раньше, еще в XVIII и XIX вв., говорили: "Трису праздновать", т.е. "справлять праздник (святому) Трису" (иронически), а теперь "Труса праздновать"» (Ларин Б.А. Очерки по фразеологии // История русского языка и общее языкознание. М., 1977). Думается, что в данном случае Б.А. Ларина интересовало, собственно, не происхождение фразеологизма, а лишь "изменение грамматической формы предложения" как одного из условий "развития фразеологических стереотипов".

Эту же точку зрения отстаивает и развивает в ряде своих работ В.М. Мокиенко, признавший историческое объяснение "фразеологической легендой" и плодом "народной этимологии" (Мокиенко В.М. Из истории фразеологизмов // Русский язык в национальной школе. 1973. № 5; В глубь поговорки. М., 1975; Славянская фразеология. М., 1989).

Новую попытку объяснить выражение *трису праздновать* находим в статье Н.А. Мещерского («О происхождении фразеологизма "трису праздновать"» ("труса праздновать") // Язык жанров русского фольклора. Петрозаводск, 1977). Прекрасный знаток древнерусской книжности Н.А. Мещерский считал, что "фразеологизм этот много старше, чем начало XVII в." и его непосредственным источником является переводная церковнославянская письменность, а именно месяцесловная "память (великому) трису", где слово *трис* употребляется в значении "землетрясение".

Однако объяснение Н.А. Мещерского сразу вызвало возражение у автора настоящих строк. Прежде всего потому, что в месяцесловах

отсутствует само словосочетание "трусу праздновать", а есть лишь "память трусу" (Иванова Т.А. К истории поговорки "трусу праздновать" (некоторые замечания и уточнения о ее происхождении) // Язык жанров русского фольклора. Петрозаводск, 1979). Признав наши возражения объективными, В.М. Мокиенко также считает неубедительным предположение Н.А. Мещерского (Мокиенко В.М. Славянская фразеология. М., 1989).

Вместе с тем дальнейшие разыскания позволяют признать справедливость предложенного Н.А. Мещерским объяснения. И хотя нам по-прежнему не удалось отыскать в древнерусских памятниках устойчивое словосочетание *праздновать трусу* в более раннюю эпоху, "чем начало XVII в.", однако оно, безусловно, бытовало прежде всего в церковном обиходе с давнего времени. При этом, конечно, не в том значении, которое присуще этому фразеологизму в современном русском литературном языке. Обычай именно *праздновать трусу*, согласно Прологу (по сп. 1339 г.), восходит ко времени императора Феодосия II Малого, когда в 438 году Константинополь и иные города были разрушены страшным землетрясением. Сам император с патриархом и причтом и со всеми людьми со слезами молились Богу, "кресты носяще". С тех пор и утвердился обычай "таковыя вины праз(д)нуеть ц(ерко)вь того память кр(ест)ы носяще" (Пролог по рукописи Публичной библиотеки Погодинского Древлехранилища № 58. Пг., 1917. Вып. 2. С. 349).

Как пишет Н.А. Мещерский, на календарные дни памяти трусу "сочинялись специальные последования и молитвословия". Так, в том же Прологе по списку 1339 года приведен тропарь, начинающийся словами: "Избави на(с) Г(оспод)и праведнаго своего гнева..."

Пришедший из Византии обычай *праздновать трусу*, т.е. особым образом отмечать в церкви праведный Божий гнев, естественно, был известен издавна и в православной Руси. "Уже в месяцеслове Остромирова евангелия (1056–1057 гг.), – пишет Н.А. Мещерский, – под 17 марта мы находим. "Па(мя)ть с(вя)таго Алекса, нарицаемаго ч(е)л(ове)ка б(о)жия, и великому трусоу"».

Переосмысление традиционного безобразного устойчивого сочетания *праздновать трусу*, с точки зрения Н.А. Мещерского, произошло не ранее XVIII века, когда в русском языке появилось омонимичное слово *трус* – "трусливый человек". Действительно, и наиболее ранняя словарная фиксация слова *трус* в значении "трусливый человек", и презрительно-ироническое употребление *праздновать трусу* в значении "трусить, бояться" относятся к XVIII веку. По данным Словаря современного русского литературного языка (Т. 15), впервые значение "трусливый человек" у слова *трус* отмечено в "Российском целлариусе" Фр. Геллергофа (1771 г.).

Заметим, что само слово *трус* по своему происхождению является

регулярным праславянским образованием от глагола *трясти*. Следовательно, первоначальным значением этого слова было "трясение", в том числе и "землетрясение". Частотность и терминологичность последнего значения у слова *трусъ* в памятниках древнерусской письменности, безусловно, обязаны влиянию евангельского текста, в котором это слово неоднократно употребляется при переводе греческого *seismós* "землетрясение" (см., например, евангелие от Матфея. 27, 54 и 28, 2).

Вместе с тем это слово могло употребляться и в значении особого психофизического состояния человека, его нравственного потрясения: "и егда съг(лаго)ла слово се к мне, вѣста(х) с трусомъ [с трепетом. – Т.И.]", – Книга пророка Даниила. 10, 11 (Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1912. Т. III).

По-видимому, именно на основе этого значения слова *трус* возникает в истории русского языка омоним, обозначающий лицо, характеризующееся по действию однокоренного глагола: *трус* – человек, который *трусит*. У Н.С. Лескова в "Соборях" обыгрываются эти два значения: "– Я [дьякон Ахилла. – Т.И.] всем хочу доказать, что я всех здесь храбрее (...) – Не хвалитесь. Иной раз и на храбреца трус [трепет, дрожь. – Т.И.] находит, а другой раз трус [человек. – Т.И.] чего и не ждешь наделает..." (Лесков Н.С. Собр. соч. В 11 т. М., 1957. Т. 4).

Точно так же и переосмысленный фразеологизм *трусу праздновать* "робеть, бояться, трусить" известен лишь с XVIII века. Впервые он отмечен А.И. Федоровым у Г.Р. Державина в комической народной опере "Дурочка умнее умных": "Трус, Сидоровна, празднуешь! Политика политикой, а драться надобно" (Федоров А.И. Развитие русской фразеологии в конце XVIII – начале XIX в. Новосибирск, 1973).

Таким образом, появление нового образного фразеологического значения у словосочетания *праздновать трусу*, несомненно, зависело, во-первых, от основного в русском литературном языке значения глагола *праздновать* – "справлять праздник" (святому) и, во-вторых, от появления в русском языке омонима *трус* "трусливый человек".

С точки зрения Н.А. Мещерского, ироническое переосмысление первоначально безобразного словосочетания *праздновать трусу*, вероятнее всего, произошло "в речи церковников и семинаристов". Думается, что и это умозаключение ученого не лишено оснований, хотя и не имеет бесспорных доказательств. Одним из косвенных свидетельств этого может служить образованный по той же модели фразеологизм *Лытусу праздновать*, отмеченный еще В.И. Далем (т. II). С нашей точки зрения, само это "имя" является латинизированным вариантом слов *лытала*, *лыталь*, *лытарь* и др., употребляемых в русских народных говорах в значении "праздник гуляка, шатун, лодырь" (Словарь русских народных говоров. Л., 1981. Вып. 17).

Думается, что данный вариант "святого" Лытуса с очевидностью

указывает на ту же среду, где произошла и фразеологизация *трус* праздновать. Ср. подобную "латинизацию" в речи бурсака у Н.Г. Помяловского в "Очерках бурсы": «Отец его спрашивает: "Как сказать по-латыни: лошадь свалилась с моста?" Молодец отвечает: "Лошадендус свалендус с мостендус"» (Помяловский Н.Г. Соч. В 2 т. М. – Л., 1965. Т. 2).

Заметим также, что экспрессия ироничности поговорки *трус* праздновать, как справедливо пишет В.М. Мокиенко, является «важным намеком» на ее каламбурное образование: ведь такая экспрессивность создается за счет прозрачной (или когда-то прозрачной) "нарицательности" имени собственного» (Мокиенко В.М. Собственное имя в составе русской фразеологии // *Českoslovencka rusistika*. 1977, R. XXII, 1).

Именно таким, фактически фиктивным "именем собственным", являлся первоначально "святой" Трус, созданный языковой шуткой, каламбуром. Однако с течением времени это фиктивное "имя собственное" уже таковым перестает осознаваться и превращается лишь в грамматически варьирующийся компонент фразеологизма *трус* (*трус*а) праздновать.

Санкт-Петербург

СОЮЗ ГИБКИЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ

О.П. ПОПОВ

Вероятно, союз "но" самый своеобразный в русском языке. Его основное значение – противопоставление, возражение. Служит он для соединения предложений, для развёртывания мысли, а иногда становится как бы существительным, не теряя противительного значения: «Возникло маленькое "но", угрожающее большими неприятностями». Нередко его употребляют в качестве номинативного предложения: «Дополнения к вашей статье интересны. Но! – Время ушло, и мы не сможем их использовать».

Эта новинка представляется неожиданной и выразительной. Только ничто на свете не ново... Полтора века тому назад мать И.С. Тургенева, женщина талантливая и темпераментная, писала сыну: "Я иногда боюсь, чтобы тебя не слишком ожесточить своими упреками и наставлениями. Но! – ты должен принять моё оправдание". Цитируя это письмо, Борис Зайцев отмечал: «Вот это "но!" с восклицательным знаком, – где, в чьей прозе виданы такие вещи – и как очаровательно выходит, нервно, властно, капризно» (Зайцев Борис. Далёкое. М., 1991. С. 160). Однако Б. Зайцев ошибался, считая Варвару Петровну Тургеневу изобретательницей этого "но!". В одном из писем А.К. Толстого мне встретилось: "Пример дурных стихов и дурных рифм. – Но!..

Чьей это ты кровью свой меч обагрил...

(Толстой А.К. Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1908. Т. IV. С. 243).

А ещё раньше в драме М.Ю. Лермонтова "Испанцы" находим: "Но! – я придумала. В Мадрид отправлюсь, / Там получу прощение грехов..." (Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. Л., 1979. Т. III. С. 65).

Любопытно обыгрывание противительного значения "но" Сергеем Есениным. Иронически комментируя слова Владимира Маяковского, обращённые к А.С. Пушкину: «После смерти нам стоять почти что рядом – вы на "пэ", а я на "эм"», – он заметил: "Да, всего две буквы, зато какие: НО!"

Возможно, что предупредительное междометие "но-но!" образовалось из союза по такой, примерно, схеме: "Уходи, а то будет плохо! – Но-но, ты не очень..." Второе предложение выступает здесь в значении: "Не угрожай, я не боюсь".

Гибкий, выразительный этот союз "но"...

*Семибратово,
Ярославская область*

И.Ф. ПРОТЧЕНКО. Словари русского языка. Краткий очерк

Язык, культура, жизнь, история – всё находит отражение в словарях. Именно о них рассказывает автор рецензируемой книги (Словари русского языка. Краткий очерк. 2-е изд. М.: Издательство РОУ, 1996), поставивший перед собой задачу "дать читателю общее, но довольно широкое представление о словарном богатстве, накопленном в словарях русского языка – этой сокровищнице народной мысли и житейской мудрости".

Читатель прежде всего проходит ступени истолкования важнейших в словарном деле терминов – *лексика, лексикология, семасиология, система лексики, активная и пассивная лексика*, а затем переходит к самим словарям: их свыше 300! Казалось бы, в таком словарном многообразии можно и заблудиться. Но И.Ф. Протченко искусно создает путеводитель из теоретических сведений, практических выводов и рекомендаций. Классификация словарей сохраняет в общих чертах исторически сложившуюся традицию, а само представление словарей создает запоминающуюся "галерею словарных портретов". При этом у каждого словаря свое место "на книжной полке", и читатель легко может сориентироваться в том, какой из словарей ему будет нужен в той или иной работе, чтобы заглянуть в историю своего языка, проследить формирование и развитие русского слова от древнего языка – основы (V–VI вв. нашей эры), языковой общности восточнославянских языков (русского, украинского, белорусского) до образования языка великорусской народности (около XIV в.) к современному русскому литературному языку.

Как это происходит? Перелистаем некоторые страницы предлагаемой книги. Возьмем, например, "активный и пассивный состав русской лексики". Активный фонд – это вся общеупотребительная лексика, а пассивный – это лексика, которая "мало употребляется в повседневном живом общении". В пассивном фонде скапливаются слова устаревшие, но в нем же и слова новые, новорождённые, еще не вошедшие в широкий обиход. И здесь автор делает весьма важное замечание: активный или пассивный словарь языка в целом надо отличать от пассивного (или активного) запаса слов отдельного человека.

Книга знакомит читателя с особенностями жизни языка. С одной стороны, устаревшие слова – историзмы и архаизмы. Их устарение

неодинаково. Историзмы выходят из употребления вместе с ушедшими вещами, разными реалиями: *редут, пицаль, княжеская дружина*... Но можно ли, хочется спросить автора, с уверенностью отнести к историзмам такой безнадежно устаревший термин родства как *братучадо*? Есть реалья и есть синонимическая замена: сын брата, племянник (подобно общепризнанным архаизмам *ланиты* – щеки, *чело* – лоб). Да и собственно историзмы в живом восприятии – тот же *редут, гусар, драгун* – легко синонимируются с родовыми, объединяющими наименованиями (род укреплений, служащие в разного рода войсках и т.п.). Иначе, как понять такие слова в исторических текстах, описаниях, в художественной литературе или в образном употреблении (*настоящий гусар!*)? Но как бы ни были спорны теоретические определения, этот уходящий (но все же живой) пласт лексики требует своего особого изучения, на чем и фиксирует внимание читателя автор предлагаемой книги.

С другой стороны, не менее обоснован и особый анализ новых слов. Если историзмы и архаизмы – это взгляд в историю языка, в пройденный этап языкового развития, то неологизмы – новые слова, только что родившиеся. В пассивном фонде оседают и новые слова – заимствования. Их новизна усилена чужим звучанием. Речь может идти не только о слове, но и о морфеме – части слова.

В "Кратком очерке" можно прочесть интересную историю суффикса *-ист*, вернее было бы сказать "жизнеописание суффикса *-ист*". Этот словообразовательный элемент вошел в русский язык еще во времена Петра I, но и в XVIII веке и в первой половине XIX века был еще чужим. К 1850 году был только один синоним к *гуслиар* – *гуслист*, и *гуслистка* (у В. Даля), да и то, возможно, как результат желания приравнять *гуслиара* к *пьянисту* (1847), *арфисту*, *арфистке* (1847), ср.: *гусли* – "лежащая арфа" у В. Даля. Но каким продуктивным стал суффикс *-ист* ко второй половине XIX века! Слово *декабрист* появилось не ранее 40-х годов XIX в. (словарная фиксация – 1895). Любопытно замечание в печати по поводу слова *маринист* – "по-русски говорят: морской живописец или живописец морских видов, а не маринист!" (Северная пчела. 1854. № 76. С. 319. См. об этом Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30–90-е годы XIX века. М. – Л.: "Наука", 1965 г. С. 259, 260).

Как обильны, и как совершенно по-русски звучат в наше время слова на *-ист*: *формалист, структуралист, лингвист, русист, или связист, очеркист*.

И.Ф. Протченко особо фиксирует внимание на том, что заимствованный суффикс *-ист* (как и другие: *-аж, -изм* и т.п.) формирует "русские слова с русскими основами". Выделив суффикс *-ист*, автор наглядно демонстрирует, «какими могут быть "темпы" такого процесса», обусловленные жизненными потребностями.

Жизнь новых слов и пути пополнения словаря автор "Краткого очерка" представляет непосредственно в рассказе о самих словарях неологизмов. Здесь представлены разные типы неологизмов: лексические (*космопорт, дизайнер*), семантические (*спутник* – в значении "искусственный спутник Земли"), окказиональные (индивидуально-стилистические: *громокипящий кубок* у Ф. Тютчева) и их источники (заимствования из других языков и своих диалектов, лексико-семантические новообразования).

В "Кратком очерке" уделено внимание словарям синонимов, антонимов, омонимов, паронимов – и все на той же продуктивной основе: слово – как функциональная единица в тексте, в нашей речи. Тем самым ставятся вопросы словарного богатства, выбора слова, стилистики и культуры речи. Эта же линия представления слова и словосочетания сохраняется и в рассказе о фразеологических словарях. Казалось бы, особый тип словарей – исторический (как и этимологический), но и здесь мы окунаемся в жизнь слов, прошлую и современную.

Словари двуязычные и многоязычные, лингвострановедческие помогают взаимопониманию, общению разных народов, а словари языка писателей и отдельных произведений дают возможность глубоко проникнуть в содержание художественного текста новым поколениям читателей, понять особенности ушедших эпох.

Словари терминологические, топонимические, антропонимические, словари названий жителей... – и каждый вносит свою долю в нашу языковую и общую культуру. На этом последнем свойстве словарей остановимся немного подробнее.

Комплексные академические словари – что является их особенностью? Обычно словари делят на энциклопедические (*энциклопедия* – греч. "в – кругу – обучения, просвещения") и лингвистические (или филологические). Чем отличаются эти словари друг от друга? И.Ф. Протченко не тратит много слов на пояснения, а предлагает для примера сравнить словарные статьи (в сокращении) для одного и того же слова *глаз* в энциклопедическом и лингвистическом словарях. Особенности налицо: в первом словаре – дано описание предмета, в данном случае органа зрения (его строение, функционирование у человека и животных); во втором – объясняется значение слова *глаз* (примеры его употребления в речи, фразеологические словосочетания, грамматические формы, стилистические пометы).

Комплексный тип словаря – смешанный, отличающийся от лингвистического (филологического) словаря своей терминологической направленностью. По существу, словари трудно разделить на чисто энциклопедические или лингвистические, так же, как трудно разорвать связь слова и вещи. Может быть, из всех лингвистических словарей такой связью особенно отличается "Толковый словарь живого великорусского

языка" Владимира Даля. Этот словарь – сокровищница нашей речи – тоже особый тип толкового словаря, но не академического: он не предписывает литературной нормы употребления слов. Это функция словарей академических.

С Вл. Далем связано еще одно важное лингвистическое явление, его отмечает И.Ф. Протченко: «Слово "толковый" в названии словаря первым употребил В.И. Даль, и все последующие словари подобного типа стали именоваться толковыми». Само слово *толковый*, заметим, очень интересно. *Толковый* идет от тюркского *тол* – "язык" к русскому *толмач* – *толк* – *толковать* и далее к немецкому *Dolmetscher* "переводчик", к английскому *to talk* "говорить, разговаривать". Какая связь языков и народов отразилась в корне этих слов!

"Краткий очерк" И.Ф. Протченко вмещает рассказы и о первых создателях толковых словарей (Памва Берында, Лаврентий Зизаний), и об авторах академических толковых словарей конца XVIII – начала XIX века (Тредиаковский, Ломоносов, Державин, Фонвизин и многие другие, добавим только Екатерину Романовну Дашкову, сподвижницу Екатерины II) и, конечно, о словарях более позднего времени, их авторах – Востокове, Дале, Срезневском, Гроте, Бодуэне де Куртене, Преображенском, Шахматове. Перед нами проходит целая галерея выдающихся лексикографов XX столетия: Чернышев, Ушаков, Щерба, Обнорский, Бархударов, Виноградов, Винокур, Евгеньева, Ожегов, Аванесов, Филлин.

Книга И.Ф. Протченко заканчивается "Заданиями, упражнениями, вопросами", которые заставят читателя обдумать и закрепить в памяти прочитанное. Так что Краткий очерк о словарях русского языка – не только надежный путеводитель в мире лексикографии, но и добрый учитель.

А.А. Брагина,
доктор филологических наук



Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х годов

Столетиями лексическое движение (прежде всего в сфере приращения слов) находило свое отражение в очередных (по времени) толковых словарях языка. Только в XX веке лексикографы и у нас, и за рубежом пришли к мысли, что лексическое приращение нагляднее всего можно показать в особых словарях – периодических словарях неологизмов.

Неологизмы общего языка – это новые устойчивые в обиходе слова, новые устойчивые значения прежних слов, новые устойчивые словосочетания, фразеологизмы, аббревиатуры. Неологизмами являются также и разовые словесные образования (окказионализмы), хотя у них отсутствует свойство, присущее лексике языка как системе, – постоянство в употреблении. Появление новых реалий, понятий, новых словесных способов выражения и соответствующих наименований позволяет языку идти в ногу с жизнью, поэтому неологизмы неизбежны в любом живом языке.

Неография (теория и практика создания словарей неологизмов) встала на ноги в XX веке (сейчас неологических словарей в мире, по приблизительным подсчетам, более 80). И лидирующее положение здесь занимает русская неография. Именно у нас (по инициативе и под

руководством доктора филологических наук Н.З. Котеловой) в 60–70-х годах были созданы три типа таких словарей: словари-ежегодники, вбирающие слова, новые для данного года, и потому – вследствие краткости своего существования – не претендующие (в целом) на нормативность и долговечность, ибо только время может решить их судьбу (серия: Новое в русской лексике. Словарные материалы за 1977–1988 годы, 12 выпусков); словари-десятилетники, демонстрирующие новые слова данного десятилетия, ставшие для него, по показаниям источников, устойчиво-употребительными (серия: Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х, 70-х, 80-х годов); словарь неологизмов середины 50-х – середины 80-х годов – словарь слов, употребление которых двумя поколениями ввело их в круг устойчивой национальной лексики (Словарь новых слов русского языка, 1995 – первый в этой серии).

Если обычные толковые словари языка содержат лексику, устоявшуюся в общем употреблении и обеспечивающую связь людей по временной горизонтали (современники) и вертикали (разновременные поколения), то задача словаря новых слов второго и третьего типа иная – представить верхушечный (по установленному периоду) срез лексики. И если толковые словари общего языка показывают лексическую систему (или систему систем) языка, то словари неологизмов обращаются к той лексике, которая в целом и в указанные годы только что встроилась (встраивается) в эту систему. Такие словари, следовательно, предъявляют лишь часть лексической системы, что для изучения языка, для пользования им (в справочных целях) весьма удобно.

В 1997 году вышел словарь новых слов 80-х годов. Как и все неологические словари второго и третьего типа, словарь неологизмов 80-х годов содержит:

– собственно новые слова, выросшие на русской почве, или чистые иноязычные заимствования: *баксы, бумажно-бюрократический, захмариться, информатизация, отголубеть, плей-офф, рок-балет, сейшен, спонсорский, трудоголик, усталостный* и т.д.;

– слова неновые, но с новым значением (они отмечаются звездочкой): *аура, афганец, восьмерка, впясть, квадрат, прогресс, травка* и т.д.;

– новые устойчивые сочетания слов с прямым значением: *возобновляемые источники энергии, третий возраст, информационная империя, качество жизни* и т.д.;

– новые фразеологические обороты (около 120): *проголосовать ногами, перекрыть кислород, черная дыра, мыльная опера* и т.д.;

– новые инициальные аббревиатуры: *АТР* (Азиатско-Тихоокеанский регион), *ПК* (персональный компьютер), *СДЮШ* (детско-юношеская спортивная школа), *ФОК* (физкультурно-оздоровительный комплекс) и т.д.

Все новообразования истолкованы и проиллюстрированы примерами их употребления в языке и словообразовательно-этимологическими справками.

Данный словарь, как и другие неологические словари, является историческим: и потому, что его лексика – это уже история, и потому, что подход к ней (толкование) историчен, то есть лишен конъюнктурного осовременивания. Не все слова, запечатленные на страницах словаря, прошли или пройдут сквозь сито языковой необходимости, но все они – несомненная принадлежность своего времени.

"Совершенно очевидно, что каждый культурный народ должен следить за изменениями в словаре своего языка", – писали в годовом отчете Академии наук академик В.М. Истрин и выдающийся лексикограф, будущий академик Л.В. Щерба. Другими словами, следить за словесными переменами в языке есть признак высокой культуры – такова отправная мысль ученых. И авторы словаря (Т.Н. Буцева, Ю.Ф. Денисенко, Е.П. Холодова, С.И. Алаторцева, В.Д. Бояркина, Э.Р. Сальмин, Н.А. Козулина) совершили эту – культурную акцию.

Словарь подготовлен в стенах петербургского Института лингвистических исследований и издан издательством "Дмитрий Буланин".

Е.А. Левашов,
кандидат филологических наук
Санкт-Петербург

Русский язык как государственный

Под таким заглавием в Челябинске в июне 1997 года состоялась международная конференция, организованная Администрацией Челябинской области, Институтом русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук, обществом "Знание" России.

Конференция проходила в рамках федеральной целевой программы "Русский язык", утвержденной правительством Российской Федерации в 1996 году. Инициатором ее проведения выступил экспертный совет по контролю за состоянием языковой ситуации в Челябинской области.

Основной целью конференции "Русский язык как государственный" было привлечь внимание соотечественников к тем проблемам, которые отрицательно сказываются на состоянии русского языка, содействовать выработке государственной политики, в том числе в области образования, способствовать укреплению позиций русского языка в России и мире.

В конференции приняли участие ученые, преподаватели вузов и школ, журналисты из многих городов России и Украины.

На двух пленарных и четырех секционных заседаниях были рассмотрены вопросы, связанные с анализом языковой ситуации в различных регионах, а также с жанрово-стилистическими характеристиками русского языка в различных сферах общения. Значительная часть докладов и сообщений была посвящена русскому языку в системе высшего, среднего образования и повышения квалификации, а также русскому языку как основе художественной и духовной культуры народов России.

В.Г. Костомаров, директор Института русского языка имени А.С. Пушкина, в докладе "Русский язык: проблемы языкового пространства" выразил глубокую озабоченность падением уровня речевой культуры, агрессивным засильем ненужных заимствований (в подавляющем большинстве американизмов), но подчеркнул при этом, что наш язык не потерял своей самобытности, он развивается и совершенствуется.

В.Ю. Михальченко, член-корреспондент РАЕН, в докладе "Теория и

практика создания образовательных стандартов по русскому языку как государственному" привела примеры вопиющего небрежения судьбой русского языка в республиках бывшего Советского Союза.

В.Н. Белоусов, заведующий отделом изучения русского языка как средства международного общения Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, и Э.А. Григорян, старший научный сотрудник этого Института, развили положения предыдущего доклада, сосредоточив внимание слушателей на формах государственного устройства и национально-языковой политике.

Л.В. Пиковский, председатель правления общества "Знание" России, посвятил свой доклад формированию системы непрерывного образования взрослых в России.

Участники конференции, обсудив проблемы, связанные с оценкой состояния русского языка как государственного, его исследования, преподавания, функционирования как средства межнационального общения, как мирового языка, отметили сложности и противоречия в отношении российского общества и органов власти к указанному комплексу проблем.

Участники конференции с сожалением констатировали прекращение финансирования правительством федеральной программы "Русский язык", значительное сокращение государственной поддержки общества "Знание" России в пропаганде русской культуры и русского языка. Особую озабоченность вызывают факты небрежного отношения к судьбе русского языка со стороны правительств в республиках бывшего Советского Союза. В частности, за счет времени, отводимого на изучение русского языка, увеличивается количество часов на преподавание английского языка. Вместе с тем участники конференции в своих многочисленных выступлениях отметили повышение интереса к русскому языку и проблемам его функционирования и изучения среди населения этих регионов.

Конференция приняла Обращение к органам государственной власти, народного образования, культуры, ко всем, кому дороги судьбы русского языка и русской культуры. В Обращении содержится призыв поддерживать следующие предложения:

1. Требовать обеспечения финансирования федеральной программы "Русский язык".

2. Предоставить равные с иностранными языками условия для преподавания русского языка, риторики и стилистики в средних и высших учебных заведениях (деление на подгруппы, техническое обеспечение, учебная литература и т.д.).

3. Считать желательным расширение преподавания русского языка в средних и высших учебных заведениях России, в том числе негуманитарного профиля.

4. Организовать курсы русского языка в структурах государственной власти и для региональных средств массовой информации.

5. Содействовать созданию учебных фильмов и современных пособий о русском языке и русской культуре (в том числе мультимедийных), финансировать новационные проекты по изучению и пропаганде русского языка.

6. Объявить конкурс на подготовку учебников и учебных пособий нового поколения по русскому языку для вузов и школ; содействовать их публикации.

7. Рекомендовать обязательную сдачу вступительных экзаменов по русскому языку в средних и высших учебных заведениях.

8. Ввести в перечень требований государственных образовательных стандартов в качестве особого раздела требования к знаниям по русскому языку.

9. В местах компактного проживания нерусского населения субъектов РФ способствовать открытию национальных классов, школ и подготовке учительских кадров в педагогических колледжах и вузах.

10. Рекомендовать проводить конференцию "Русский язык как государственный" регулярно в разных регионах РФ.

А.А. Панова,
кандидат филологических наук
Челябинск

Ответы к заданиям (см. С. 67)

Задание 1.

- Акцент** → в слове (ударение)
 → сильный (невольное искажение звуков какого-л. языка лицом, для которого этот язык не является родным)
 → парижский (особый характер произношения, свойственный тому или иному языку, диалекту)
 ← делать (подчеркивать какую-л. мысль, обращать особое внимание на что-л.)
- Вертеть** → колесо (приводить в круговое движение)
 → мужем (распоряжаться по своей прихоти)
 → головой (поворачивать из стороны в сторону)
- Вопрос** → прямой, ← задавать (обращение, требующее ответа)
 → национальный, ← изучать (то или иное положение, обстоятельство как предмет изучения, проблема)
 → жизни и смерти (дело, обстоятельство, касающееся чего-н.)
- Высокий** → дом (большой по протяженности вверх)
 → цена (превышающая средний уровень)
 → гость (важный)
- Дражайший** → друг (дорогой, любимый)
 → половина (муж или жена)
- Игра** → спортивная (тот или иной способ, каким играют)
 → настольная (комплект предметов для игры)
 → виртуозная (исполнение музыкального произведения)
 → бриллиантов (блеск, переливы)
- Класс** → чистый, ← вымыть (помещение для учебных занятий)
 → отстающий, шумный (группа учеников одного года обучения)
 → высокий (уровень)
- Ловить** → рыбу, зайца, медведя (захватить как добычу)
 → момент, удачу (использовать что-н. быстро проходящее)
 → жениха (искать, выискивать)
- Полный** → карман (наполненный чем-л. до краев)
 → смысла, тоски (целиком проникнутый)
 → победа, непригодность (проявляющийся не частично, аб-
 →солютный)
 → человек (упитанный, в меру толстый).

Задание 2.

А. *Материал*:

1. Она сшила платье из этого *материала*.
2. На *материале* этих сведений была написана биография писателя.
3. *Материалы* по этому делу были переданы в суд.
4. Из этого *материала* можно изготовить разную продукцию.

Б. *Дерзкий*:

1. Она окинула меня высокомерным, даже *дерзким* взглядом.
2. Он блестяще выполнил задачу, совершил несколько *дерзких* полетов.

В. *Расписаться*:

1. Этим поступком он *расписался* в своей беспомощности.
2. Он так *расписался*, что его нельзя было остановить.
3. Наконец-то они *расписались*.

Задание 3.

А. *Пруд и прут*:

1. Этот *пруд* был известен тем, что здесь всегда можно увидеть много разных птиц.
2. В руках у него был длинный ивовый *прут*, которым он небрежно помахивал.

Б. *Порог и порок*:

1. Многие думают, что у каждого человека есть свой скрытый *порок*.
2. Осторожно, не споткнись, здесь такой высокий *порог*.

В. *страсть (1) и страсть (2)*:

1. Он с такой *страстью* взялся за это дело, что скоро все было сделано.
2. Она любит рассказывать про всякие *страсти*, а я от страха боюсь пошевелиться.

Задание 4.

Лишь в одном из этих предложений нет ни одной лексической ошибки – в шестом. В остальных есть неудачно выбранные слова. Заметим только, что часто в предложении недостаточно заменить неправильно выбранное слово – правильным, иногда необходимо перестроить всю фразу.

1. *Неправильно*: Часто перед родителями стоит *дилемма*: какую книгу купить ребенку.

Правильно: Часто перед родителями стоит *вопрос*: какую книгу купить ребенку.

Дилемма – "необходимость выбора из двух исключających друг друга возможностей".

В этом предложении надо использовать слово *вопрос*.

2. *Неправильно:* Уже несколько лет прошло с тех пор, как я не ношу часов. Этот *аксессуар* был утерян мной "при невыясненных обстоятельствах".

Правильно: Уже несколько лет прошло с тех пор, как я не ношу часов. Я потерял их "при невыясненных обстоятельствах".

Аксессуар – "принадлежность чего-л., вспомогательная деталь, частность" (скажем, *аксессуары туалета* – предметы, дополняющие костюм).

В этом предложении трудно подобрать знаменательное слово, которое было бы удачной заменой слова-ошибки, поэтому лучше употребить местоимение *и*, соответственно, изменить предложение.

3. *Неправильно:* Оперативные работники Федеральной службы охраны положительно отзываются о Кузнецове, *апеллируя* к *убийственному* аргументу: "Свой. Профессионал".

Правильно: Оперативные работники Федеральной службы охраны положительно отзываются о Кузнецове, *приводя убедительные (сильные)* аргументы: "Свой. Профессионал".

Убийственный – "смертоносный; неприятный, губительный; крайний, чрезвычайный (о чем-то неприятном, отрицательном)".

Апеллировать – "обращаться с просьбой, звать".

Аргумент, конечно, может быть *убийственным*, но автор говорит об *убедительном (сильном)* аргументе, иначе вместо положительной оценки героя получим оценку отрицательную. К тому же аргументов здесь два, а не один. А апеллировать к отвлеченному понятию трудно, поэтому в предложении надо использовать слова *опираться* или *приводить*.

4. *Неправильно:* Единственными, кто его недопонял, были собравшиеся журналисты. Но не у них же министр *выгадывал* деньги на кредитование нашего сельского хозяйства

Правильно: Единственными, кто его недопонял, были собравшиеся журналисты. Но не у них же министр *выпрашивал* деньги на кредитование нашего сельского хозяйства.

Выгадывать – "сберегать, экономить, находить выгоду".

Но по смыслу фразы (выгадывал деньги – у них) понятно, что надо сказать *выпрашивал, просил*.

5. *Неправильно:* Неторопливо *чередую* поклажу, таможенники (по словам очевидцев) буквально залезают носами в сумки и жадно *втягивают* воздух.

Правильно: Неторопливо *перекладывая* вещи (слово *поклажа* лучше

заменить словом *вещи*. – *Н.М.*), таможенники (по словам очевидцев) буквально залезают носами в сумки и жадно втягивают воздух.

Чередовать – "время от времени последовательно сменять одно другим".

Но таможенники ничего не чередовали, они только переставляли, перекладывали – именно эти слова и нужны в данном предложении.

Теперь мы знаем о такой лексической ошибке, как неудачно выбранное слово: оно называет предмет, признак или действие, но названное не соответствует общему контексту, общему смыслу фразы.

Н.В. Муравьева,
кандидат филологических наук ©
